

ХОРОШИЙ СТАЛИН

ЧТО ЗНАЛ
ЛИЧНЫЙ
ПЕРЕВОДЧИК
СТАЛИНА?

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

Виктор Ерофеев
Хороший Сталин

«РИПОЛ Классик»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ерофеев В. В.

Хороший Сталин / В. В. Ерофеев — «РИПОЛ Классик», 2017

ISBN 978-5-386-08214-7

Для кого был Сталин хорошим? Он умел взбивать подушки для своих подчиненных, когда они гостили у него на даче. Он простил чиновника, который, подвыпив, случайно залез в его письменный стол и с ужасом увидел сталинские трубки... Об этом и о многом другом из интимной жизни вождя народов мне поведал мой отец Владимир Иванович Ерофеев, многолетний личный переводчик Сталина с французского языка, политический помощник Молотова. Но отец рассказал мне и о том, почему он не плакал, когда умер Сталин, хотя Сталин, по-моему, очень тепло относился к своему молодому сотруднику. Магический тоталитаризм Сталина – вот предмет этой книги, которая переведена на 40 языков мира и стала бестселлером в Иране и в Германии, в Китае и Финляндии. Ну, и конечно, эта книга о моих драматических отношениях с отцом, который из-за моего участия в альманахе «Метрополь» был уволен с поста Посла СССР в Вене. Простил ли он меня когда-нибудь за это? Я бы мог назвать эту книгу «Отцы и Дети», но меня опередил сами знаете кто.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-08214-7

© Ерофеев В. В., 2017
© РИПОЛ Классик, 2017

Содержание

А mon père 1	6
2	24
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Виктор Ерофеев

Хороший Сталин

© Ерофеев В.В., 2017

© Издание, оформление. ООО Группа компаний «РИПОЛ классик», 2017

* * *

Правда власти не принадлежит сочувствию. Она – за убийцами... Русская власть – грубая, блевотная, состоящая из мужских анекдотов, мата, бифштекса из сырого мяса, забывчивости, мутной головы, долгосрочного пьянства, садизма, луковой отрыжки, безнаказанности, унижения всех подряд, – вызывает во мне брезгливость, отвращение. Привлеки они меня к себе с их циничной фамильярностью, я бы на следующий день побежал всем рассказывать, какое они говно. Но если бы власть задалась целью купить меня, я бы попал в сложное положение. Мне нравится думать о том, как красноармейцы насильовали и убивали молодых дворянок. Лежу – представляю. Я – виртуальный мучитель, в реальности ненавидящий насилие, не переносящий даже товарищеского «тыканья» всякой сволочи... Писательская слава – тень власти. Но иногда так хочется выйти из тени.

А mon père 1

В конце концов я убил своего отца. Одинокая золотая стрелка на синем циферблате башни Московского университета на Ленинских горах показывала минус сорок по Цельсию. Машины не заводились. Птицы боялись летать. Город застыл, как студень с людской начинкой. Утром, посмотрев на себя в ванной в овальное зеркало, я обнаружил, что волосы у меня на висках поседели за одну ночь. Мне шел тридцать второй год. Это был самый холодный январь в моей жизни.

Правда, отец до сих пор жив и даже по выходным до недавнего времени играл в теннис. Теперь, хотя и сильно постарев, он все еще сам косит траву электрокосилкой на дачной лужайке между кустов гортензий и роз, среди куц с детства любимого им крыжовника. Он по-прежнему водит машину, упрямо не надевая очки, чем приводит маму в отчаяние, а пешеходов – в ужас. Уединившись на втором этаже в своем дачном кабинете, в окна которого скребутся ветви высокого дуба, он долго, медлительно, потирая волевой подбородок, что-то печатает на пишущей машинке (может быть, пишет книгу воспоминаний?), но все это, уже подробности. Я совершил не физическое, а политическое убийство – по законам моей страны это была настоящая смерть.

Можно ли считать родителей за людей? Я всегда в этом сомневался. Родители – непроявленные негативы. Из всех, кого мы встречаем в жизни, хуже всего мы знаем своих родителей, и именно потому, что мы их не встречаем, инициатива изначально захвачена «предками»: это они встречают нас. Пуговина не перерезана – мы состоим из них ровно настолько, насколько их невозможно понять. Коллапс знания обеспечен. Остальное – домыслы. Мы боимся увидеть их тело и заглянуть им в душу. Они так и не превращаются для нас в людей, оставаясь навсегда чередой впечатлений, не знающих своего начала, неустойчивыми чучелами-миражами.

Это – неприкосновенные существа. Наши суждения о них беспомощны, высосаны из пальца, построены на предвзятости, неизжитых детских страхах, борьбе совершенства с реальностью, оправдании неоправдаемого. Но и родители беспомощны перед нашей оценкой. Наша взаимная с ними любовь принадлежит не им и не нам, а инстинкту, заблудившемуся как в лоне матери, так и в лоне цивилизации. В этом инстинкте мы энергично ищем светлое человеческое начало, и мы не можем не мстить инстинкту за его слепоту своими глубокомысленными спекуляциями. Любовь под названием «отцы и дети» не имеет общего знаменателя благодарности, полна бесконечных обид и недоразумений, из которых родится горечь запоздалого сожаления.

Родители – буфер между нами и смертью. Как и великие художники, они не имеют права на возраст; наш неизбежный бунт против них столь же биологически безупречен, сколь и морально мерзок. Родители – самое интимное, что у нас есть. Но когда семейная интимность расширяется до масштабов международного скандала, который ставит семью на порог выживания, как это случилось в моем доме, невольно начинаешь думать, вспоминать и анализировать. Я только сейчас наконец решился написать об этом книгу.

АНОНИМКА

Министру иностранных дел СССР, тов. А. А. ГРОМЫКО

Копия: АВСТРИЯ. ВЕНА. Представительство СССР при ООН. Послу В. И. ЕРОФЕЕВУ

Авиаписьмо, на конверте – три летчика (летчицы в шлемах), Герои Советского Союза: П. Осипенко, В. Гризодубова, М. Раскова. 40 лет

беспосадочного перелета Москва – Дальний Восток. Почтовый штемпель: 31–1791840 (отправлено 31 января 1979 года в 18. 40), Москва, Поч тамт, 9 цех.

Вторая копия (мне): МОСКВА. Ул. Горького – 27/29, кв. 30. В. Ерофееву
Авиаписьмо, на конверте – байкальский тюлень. Из серии: «Современная фауна СССР». Почтовый штемпель: 31–1791840, Москва, Почтамт, 9 цех.

Обратный адрес и фамилия, указанные на конверте, подложны. Орфография и пунктуация анонимного автора оставлены без изменений.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ МИНИСТР!

Думается, что из локального скандала, идущего сейчас в литературных сферах, обязаны сделать выводы и некоторые другие институты, имеющие отношение к борьбе двух социальных систем. В частности, МИД.

Подумать только: в семье глубоко «нашего» дипломата, имеющего безупречную идейную репутацию, вырос подлинный подонок, который пишет непотребные сексуально-патологические рассказы, а теперь выступил в качестве составителя и одного из авторов подпольного альманаха, имеющего явную антисоветскую направленность. А рассказ Виктора Ерофеева, действие которого разворачивается в общественной уборной, под которой следует-де понимать наше общество, и вообще прецедент небывалый!

«...» И пока в литературных кругах идет разбирательство, каким образом молодой человек, не имеющий ни одной собственной книги, попал в члены Союза советских писателей, не следует ли подумать о том, что странных своих идей он нахватался за рубежом, где находился и теперь оказывается часто вследствие служебного положения своих родителей? Не думаем, чтобы он был впрямую завербован, но одно почти несомненно: вражеская идеология прямым путем запала в его голову!

«...» Идет сейчас много разговоров о том, что родительские связи помогут этому классовому отщепенцу выпутаться из истории, в которой он пока ведет себя предельно нагло и без намеков на какое-либо раскаяние. Было бы очень прискорбно, если бы высокий авторитет родителей спустил бы это политическое дело, близкое к срететированной диверсии, как говорится, на тормозах. Наоборот, представляется крайне важным на примере этого прискорбного дела провести воспитательную акцию и в пределах самого МИД, дабы все другие задумались, к каким последствиям может привести родительская либеральность и отсутствие всесторонней бдительности к вопросам... (Вторая страница письма в обеих копиях отсутствует.)

Может быть, я – самый свободный человек в России. В сущности, это незначительное достижение, особой конкуренции в этой области не наблюдается. Все соревнуются в других измерениях. Что делать со своей свободой, я не знаю, но она мне дана как ясновидение. Как-то так получилось, что я оказался вне всяких чинов, регалий, конфессий и премий. Я считаю, что мне повезло. У меня нет ни начальников, ни подчиненных. Я не завишу ни от пизды, ни от Красной Армии. На критиков, моду, фанатов мне насрать. Быть самым свободным человеком в самой смешной стране на свете до безобразия весело. В других странах живут серьезные люди, несущие бремя ответственности, как полные ведра воды, а у нас – смешные, непере译имые на иностранные языки мужики, бабы, милиционеры, интеллигенты, колхозники, зэки, придурки, начальники и прочие отморозки. Смешным людям свобода не нужна.

Какие только гениальные идеи ни приходили русским в голову – каждая гениально смешна. Третий Рим создавали, отцов воскрешали, коммунизм строили. Во что только не верили! В царя, белых ангелов, Европу, Америку, православие, НКВД, соборность, общину, революцию, червонец, национальную исключительность – во все и всех верили, кроме самих

себя. Но самое смешное – звать русский народ к самопознанию, бить в набат, звонить в буддистский колокольчик:

– Вставайте, братья! Обнимемся! Выпьем!

Братья встанут и обязательно выпьют. Сядешь с интеллигенцией всю ночь напролет говорить о Боге, смерти, бабах, авторской песне, судьбе – вены вздуваются, концепции множатся. Горизонты распахиваются на четыре стороны: куришь с Байроном, играешь на бильярде с Че Геварой. Но утром проснулся – нет больше интеллигенции. Богема на выдохе. Тогда – в крупный бизнес, в телевизор, в политику, к олигархам, – сидишь глупеешь. Или с молодежью закатишься на дискотеку: узнаешь в сортире о космических войнах добра со злом, этимологии японского мата, сорока четырех способах не поправиться топ-модели, мистических безднах Армагеддона; заодно этнические танцы потанцуешь.

Русские писатели тоже смешные люди. Одни смеются сквозь слезы, другие – просто так. В этой смешной стране они пекутся о нравственности. Но, как ацтеки, они кровожадны, склонны к человеческим жертвоприношениям. Они отрубают головы женщинам и врагам. Романы пропитаны темой смешных отцов и смешных детей. Не только Тургенев и Достоевский, но и Серебряный век в «Петербурге» Андрея Белого договорили эту тему до ритуального убийства. Революционер-сын и реакционер-отец. Книга, бомба, террор. Знала бы моя мама, болея от моего детского равнодушия к печатному слову, прививая любовь к литературе, что я отражу эту тему в жизни, навредив всей семье, она бы, наверно, сожгла все книги нашей семейной библиотеки.

Из письма моей мамы моему папе, отправленному из Вены в Москву 17 февраля 1979 года:

Дорогой мой Вов,

живу уже две недели – завтра – без тебя. И все время словно под шотландским душем. То прохладная вода, то снова горячая...

Я уже тебе писала, что стараюсь заниматься все время до предела и быть с людьми, чтобы отделаться от гнетущих мыслей. Но вот, кажется, исчерпала все возможности всяких встреч. Да и как много их могло быть при нашей уединенной жизни?

Третий день льет дождь либо стоит густой туман, не располагающий даже выйти на улицу прогуляться. <...>

В который раз я переживаю за тебя! Ну какое ты имеешь отношение к литературным экспериментам? Виктор действовал как последний идиот, подставив себя под удары со всех сторон тогда, когда он еще ничего толком не сделал, как говорят, не вышел в люди. Что за безответственность! Он наломал дров, испортил себе в жизни многое и надолго.

Но вот ты! Ты-то при чем? Безупречная служба, подорвавшая тебе и здоровье, и нервы. Колоссальная ответственность. Вся жизнь, отданная работе. Вечерние бдения до полуночи, когда другие (неразборчиво) или пьют водку.

Надо кончать, ибо больше я не могу писать об этом. <...>

Посылаю вам кое-что.

Носки – Андрюше, баночку икры – Олежке. Вино – вам вместе.

Целую крепко-крепко,

Галя.

Как дикое животное, время резко меняет место своего обитания. В пыльных чемоданах крокодиловой кожи, дорогах портфелях с оторванными ручками, картонках из-под экспортной водки «Столичная» хранятся визитные карточки покойников, приглашения на приемы

давно ушедших в отставку правительств, меню обедов и ужинов с несуществующими ныне людьми, газеты экстренных новостей (в основном некрологи). Бюрократический экзистенциализм, тоска по бессмертию, жажда оставить след. Мой папа – бархольщик.

МАМА. Зачем тебе это нужно?

Отец никогда не отвечает на этот вопрос. В центральном ящике стола у него лежит номер «Правды»: невиданный в истории журналистики некрофильский апофеоз, заверстаный в черных рамках газетных полос. Стиль врачебного заключения о смерти вождя настолько блестящий, что невольно думаешь: все это – литература.

Тогда вся жизнь была литературой. 5 марта 1953 года ее персонажи разделились на тех, кто плакал и кто был счастлив. Но был один человек, который не заметил, что Сталин умер. Не заметил ни траурной музыки по радио, ни красных флагов с черными лентами, вывешенных дворниками на улицах. Он жил в Москве, в самом центре, на улице Горького, в доме 27/29, возле площади Маяковского, и его соседями по высокому сталинскому дому с завитушками фасадной лепнины, добротного построенного пленными немцами, были главный сталинский писатель Фадеев и замечательный художник-соцреалист Лактионов, у которого моя мама позже из принципа отказалась заказать свой портрет: она полюбила импрессионистов, а у Лактионова к тому времени была подмочена репутация. Так мама осталась без портрета, который можно было бы теперь продать за большие деньги. Помимо импрессионистов мама впоследствии полюбила песни Окуджавы, и однажды его привела к нам в дом Галина Федоровна, курившая одну за другой сигареты «Ява», вытаскивая их из мятой мягкой пачки, ритуально разминая перед курением, и Окуджава явился, худой, молодой и – надменный (но, может быть, от смущения), привлеченный коллекцией пластинок Жоржа Брассанса, с которым был лично знаком мой папа, и мне показалось тогда, что, как только Брассанс запел, Окуджава забыл о нас, а когда из вежливости вспомнил, речь за журнальным столом шла о смерти Сталина, и мама сказала, что в тот день все плакали, потому что не понимали, а Окуджава вдруг так тихо...

ОКУДЖАВА. Это был мой самый счастливый день в жизни.

И вышло ужасно неловко.

Человеку, который не заметил смерти Сталина, было пять с половиной лет, но это его мало извиняет. Дети жили, ходили, пели и знали, что делается в стране. Более того, у этого мальчика папа работал в Кремле помощником Молотова и официальным переводчиком Сталина на французский язык. Или я уж совсем беспамятный, но, сколько я ни напрягаю свою память, я не помню траурного дня. Как же так?

Я годами задавал родителям этот вопрос. Сначала я выяснил, что моя мама в тот день плакала вместе с ее подругами. Они все работали в МИД СССР и плакали по двум причинам. Во-первых, они любили Сталина. Во-вторых, они боялись, что без Сталина страна рухнет. Позже мама признавалась.

МАМА. Я жалею, что плакала, поскольку Сталин был чудовищем.

Что касается второго пункта, то подруги исторически правы. Сталин умер – СССР стал разлагаться буквально на следующий день, сосед Фадеев вскоре застрелился. И, как ни баллажили страну, она продолжала разлагаться и наконец распалась на зловонные куски.

Ну, а папа? Плакал ли папа?

ПАПА. Я слишком был занят в тот день, чтобы плакать.

Ни фиги себе! Когда папа не хотел о чем-либо говорить, он отвечал не уклончиво, а коротко и ясно. Ну, конечно, ему надо было заказывать гроб, венки, катафалк, скупать охапки цветов по всему Советскому Союзу, так что умершему параллельно со Сталиным композитору Прокофьеву нечего было положить на могилу. Наконец, он хлопотал с товарищами о месте на кладбище, в последующие дни организовывал похоронную давку на Трубной, эвакуировал недошедших до панихиды мертвецов. И только недавно отец признался.

ОТЕЦ. Я в тот день вздохнул с облегчением.

Но есть ли в этом признании правда или просто-напросто время, как дикое животное, ушло на другое пастбище?

Из статьи Даниэля Верне. «Монд», 25 ЯНВАРЯ 1979 ГОДА:
DES ÉCRIVAINS SOVIÉTIQUES NON-DISSIDENTS REFUSENT LA
CENSURE ET ÉDITENT UNE REVUE DACTYLOGRAPHIÉE¹

Moscou. – Un café dans une petite rue de Moscou. Un group d'écrivains a retenu la salle, mardi 23 janvier, pour présenter ai quelques amis soviétiques, écrivains et artistes, une nouvelle publication. La jour prévu, pourtant, le café est fermé. La veille, des médecins ont décidé que le lendemain serait «jour sanitaire», que le café avait absolument besoin d' tre désinfecté de tout urgence.

Cinq écrivains: Vassili Axionov (dont les oeuvres sont connues en France, telles que *Billets pour les étoiles* ou *Notre ferraille en or*); Andrei Bitov, Viktor Erofeiev (critique et homonyme de l'auteur *de Moscou sur vodka*); Fasył Iskander (écrivain installé en Abhazie) et Eugene Popov (jeune poeite sibirien) ont publié une revue en dehors des circuits officiels, en refusant de se soumettre ai une quelconque censure. <...>

Ce recueil, qualifié d'almanach par ses auteurs, selon la tradition russe du dix-neuvieme siecle, se présent sous la forme d'un grand cahier de format quatre fois 21–29. Avec plus de cent vingts pages, il représent l'équivalent d'un livre de sept cent pages. Vingt-trois auteurs soviéti ques y sont publiés. <...>

L'almanach s'intitule Métropole, aux trois sens du terme: métropole comme capitale, comme métropolitain (underground), et comme céleibre htel de Moscou, car les auteurs «cherchent un toit». <...>

Мой отец был одним из самых блестящих советских дипломатов своего времени. Он отличался быстрым, оперативным умом, невероятной работоспособностью, оптимизмом, обаянием, несмазливой красотой, скромностью. Он любил шутить. Его шутки были похожи на игру солнца в зелени деревьев, они сохранились во мне не словами, а настроением, в них был особенный, теплый микроклимат, который и стал микроклиматом моего детства. Мне иногда кажется, что моя тяга к югу, которую я нахожу в родственном мне в этом исключительном случае Бунине, мое признание не существующих на русском Севере пирамидальных тополей и белых акаций моими деревьями, мое «узнавание» парижских платанов как матрицы родной флоры связаны именно с отцовскими шутками.

Отец был *порядочным* человеком, умевшим держаться независимо, непринужденно с высоким начальством даже в сталинские времена, да и вообще, в отличие от многих своих оловянных коллег с вытаращенными глазами холуев, холопов и «валенков», он любил стоять, немного расставив ноги, несколько по-американски, в широких по тогдашней моде брюках, чуть прищурившись, – так, по крайней мере, утверждала в разговоре со мной дочка знаменитого маршала, Майя Конева, хорошо знавшая моего отца в начале 1950-х. Кстати, их цветную любительскую фотографию тех лет, на фоне открытого белого лимузина ЗИС и сочинского олеандра, с теннисными ракетками в загорелых руках, я считаю образцом сладкой сталинской жизни. Не раз мне приходилось слышать похвалы в адрес отца от таких разных людей, как великий физик Петр Капица (на даче за обедом на Николиной Горе), Ростропович, Гилельс, Евтушенко.

Я не мог не гордиться отцом. Он не возил из-за границы дорогих подарков «наверх», не обхаживал жен начальников. Ему претила общепринятая «дипломатическая» спекуляция:

¹ Перевод см. в Примечаниях.

покупка за границей дорогостоящей западной техники (фотоаппараты, магнитофоны, часы «Rolex», проигрыватели), не попадавшей на убогий советский рынок, и перепродажа ее через московские комиссионные магазины ради личного обогащения. По своим взглядам убежденный коммунист, «сталинский сокол» со стальными глазами, принимавший непосредственное участие в выработке советской концепции «холодной войны», отец искренне верил в преимущества советской системы перед капитализмом, мечтал о мировой революции.

Я родился в сентябре 1947 года. У меня было счастливое сталинское детство. Чистый, безоблачный рай. В этом смысле я готов соревноваться с подозрительно спортивным Набоковым. Я тоже был барчуком, только он – аристократическим, я же – номенклатурным. Я родился в рубашке. Прошло много лет, прежде чем я об этом узнал. По русским поверьям, в рубашке рождаются счастливые люди. Люди, которым везет. Мама, видимо, долго считала, что я по нелепой ошибке родился в рубашке. Когда она меня родила, ей во сне пришел Достоевский, редкий гость ее снов.

ДОСТОЕВСКИЙ. Ну, ты довольна?

МАМА. До этого я была так же счастлива только один раз. Когда кончилась война, я праздновала победу в Токио. Я работала в советском посольстве, в аппарате военного атташе. Посольские распили все запасы сначала обычных, а затем редких вин. Под конец два победивших дипломата подрались из-за женщины.

ДОСТОЕВСКИЙ. Этой женщиной была ты.

МАМА. Сразу видно, что вы – Достоевский.

Достоевский нахмурился.

ДОСТОЕВСКИЙ. Ты его утопи.

Моя мама задумалась над предложением классика.

Из моего письма родителям из Москвы в Вену, ошибочно помеченного предыдущим годом (как это часто бывает в январе): 27/1/78, на самом деле: 27/1/79. В интонациях письма – убаюкивание, в содержании – «сыновняя» смесь полуправды и правды. Довольно хитрое письмо:

Дорогие мама и папа, вот возникла возможность написать вам письмо, рассказать о наших делах. Олежка – самый большой оптимист в нашей семье – болтает все больше и больше, забавно выговаривает слова, почти их теперь не перевирая, составляет элементарные фразы и при этом ходит в детский сад, где ему, кажется, нравится и откуда он приносит всякие знания, в частности музыкальные (ходит напевает). Вещь по-прежнему завалена работой, худа и прозрачна. Я тоже в делах. Об одном из них стоит рассказать подробнее. В течение года несколько московских писателей (Битов, Аксенов, Искандер и я в их числе) подготавливали литературный альманах, который состоит из экспериментальной прозы и поэзии. Недавно мы отнесли его в Союз писателей и предложили опубликовать. Наша инициатива была принята – довольно неожиданно для нас – с большим подозрением, которое быстро развилось во внушительный скандал. Нас стали таскать в Союз писателей на проработки, чистить мозги; возмущались, топтали ногами. Из-за известных имен (в альманахе Ахмадулина, Вознесенский, Высоцкий и др.) скандал – с проработкой – стал общемосковским, к нему подключилась западная печать, радио, и началась свистопляска. Собрали расширенный секретариат Союза (около 70 чел.), на котором четыре часа нам угрожали такие люди, как Грибачев, Ю. Жуков и др. «дикари». Я не знаю, как будут дальше еще развиваться события, но,

по-моему, «они» просто сошли с ума. Мне лично тоже здорово намылили голову (и в Союзе, и в институте). Как бы наше чистое литературное дело не переросло (из-за идиотизма некоторых ретивых хранителей косности и застоя) в черт знает что. Пишу вам об этом в надежде, что вы отнесетесь к происходящему с разумным спокойствием, поймете мои (благие) намерения (и не только мои, но и моих друзей). К сожалению, как видно из хода дела, верх одерживают темные силы, но если они пойдут на крайние оргвыводы, скандал из московского станет совсем уж большим (то, что происходит, напоминает, как вспоминают очевидцы, отчасти 63-й год). Я не перестаю надеяться, что дело кончится более-менее сносно. Во всяком случае, без согласования со мной не предпринимайте никаких действий. Я понимаю, что очень все это вас взволнует, но не сказать теперь просто нельзя. Чувствую я себя прилично, но нервов потратил (и еще потрачу) предостаточно. Андрюшка и Вещка, бедняги, тоже страшно волнуются... Спасибо вам за болотные брюки... впрочем, сейчас не до них. Я вас крепко и нежно целую, о развитии дел сообщу как можно скорее.

*Вещка тоже вас целует,
ваш Виктор.*

В послевоенной полуголодной Москве бабушка звонила маме на работу с восторженным докладом о моем завтраке:

– Витюша съел целую баночку черной икры!

У мамы была интересная работа. Она читала то, что никто не мог читать, за что немедленно могли бы расстрелять. Скромная избранница, младшая богиня, сопричастная тайне мироздания в небоскребе на Смоленской площади, она читала американские газеты и журналы, выискивая клевету на Советский Союз и резюмируя ее начальству отдела печати.

Американцы вели себя некрасиво, клеветали обильно, со страшной силой обсирая русский народ. Американцы писали, что русские – самоеды, загнавшие себя в сибирские лагеря смерти, и что Сталин – самый свирепый диктатор в мире, людоед, который проглотил Прибалтику, Польшу и прочую Восточную Европу. Доброго дядюшки Джо, союзника по военной коалиции, больше не существовало. У других, незакаленных, людей от таких заявлений мог бы случиться понос или паралич, но от мамы американская клевета отлетала как от стенки горох. Она понимала, что сибирские стройки коммунизма – это вам не лагеря смерти. She did hate the Americans², за исключением Теодора Драйзера, которого в свободное от работы время переводила на русский язык: она мечтала быть переводчицей. Мама знала, что у американок кривые волосатые legs, которые они демонстративно бреют. Картины чужой, иностранной жизни каждый день стояли у нее перед глазами. Подмигивая, верблюд предлагал ей закурить вместе со всей Америкой. Но еще больше, чем Америку, она терпеть не могла мою бабушку, Анастасию Никандровну.

Если американцы еще только строили планы высадить десант на Красной площади, распугав коммунистов и белых медведей, то бабушка уже высадилась в Москве и внедрилась в нашу квартиру. У нее была своя жилплощадь на Моховой, в двухэтажном доме, прилепившемся к особняку музея Калинина, прямо напротив арочного входа в неглубокое метро «Библиотека имени Ленина», с печным отоплением, особым запахом русского провинциального вдовства, водопроводом, но без канализации (под раковиной в коридоре вечно стояло ведро с мутной мыльной водой; я писал в него), однако у нас в квартире, отодвинув Марусю на задний план, бабушка стала царицей газовой плиты. На ней она жарила колбасу и кипятила белье в булькающем оцинкованном баке, где можно было при желании сварить целиком крупного

² Она по-настоящему ненавидела американцев (англ.).

ребенка. Она вытаскивала капающее, с пуговицами, белье большими деревянными щипцами, как гигантских тряпичных раков, терла его на ребристой терке, полоскала, капая на него большими каплями пота, развешивала сушить на кухне на серых деревянных прищепках с умопомрачительно сильными пружинами. Кухня преобразалась в палаточный лагерь, где можно было, к моей детской радости, легко затеряться и сутками тщетно искать друг друга. Она накаляла тяжелые чугунные утюги до зловещей красноты; низ утюгов светился, как мистическое орудие средневековой пытки, которым, схватив его тряпочным прихватом, она яростно утюжила папины костюмы, шипевшие и выпускавшие горячий пар из-под мокрой, с рыжими разводами от ожогов, ветхой простыни, в своей второй жизни ставшей гладильной тряпкой. Сидя за «макинтошем», я понимаю, как в моей голове банно-прачечный цех бабушки перекодировался в стилевую работу. Бабушка выплеснула на меня ушат энергии. Я – ее внук.

Она носилась по кухне взмыленная, обожженная, полуобнаженная, в розовом лифчике, жалуясь на сердце, после чего отправлялась либо мыться в такой нестерпимо горячей ванне, что зеркало плакало от жары, либо на «скорой помощи» в больницу. Мама считала ее симулянткой. Когда вспыхивали скандалы, бабушка сильно хлопала дверями – вылетали оконные стекла. Моя совершенно отвязная нянька, Маруся Пушкина, с вечно веселым от жизненного удивления лицом деревенской девки из-под Волоколамска, лихо врала мне: это – сквозняки. Мама жила под бабушкиной оккупацией, запиралась в ванной на случай разборок, глотала слезы, сутулилась, но выдавить бабушку (папин протекторат) из квартиры у нее не хватало сил.

– Кормите ребенка манной кашей, – тихо сказала мама из советского небоскреба, перелистывая журнал «Life».

Папа застенчиво приносил с работы из кремлевского продуктового распределителя синие пакеты со вкуснейшей едой: хрустящие молочные сосиски, тонкую «Докторскую» колбасу, буженину, семгу, балык, крабы.

*Всем попробовать пора бы,
Как вкусны и нежны крабы!*

– гласила одна из редких щитовых реклам того времени при входе в сад «Аквариум» с двумя огромными барскими вазами с мраморными козлами, жующими виноградные листья (там теперь сверкает лас-вегасными огнями казино). На десерт папе по смешным ценам выдавали халву, бледно-розовую фруктовую пастилу, ромовый зефир в шоколаде, конфеты «Мишка косолапый», разноцветные киевские цукаты, рахат-лукум, пряники с медом и прочие сладости. Иногда на пакете проступали темно-красные пятна: это сочилась кровью свежая говяжья вырезка. По кухне шел острый запах маленьких пупырчатых огурцов с желтой завязью цветка в разгаре зимы с расписным от морозных папоротников окном. Кулинарная книга сталинских времен «О вкусной и здоровой пище» с элегантными коричнево-белыми фотографиями застольного изобилия: севрюжких рыб, молочных поросят, грузинских марочных вин – в нашем доме не выглядела издевательством над человеком.

Я был худ и есть не любил. В борьбе за мой аппетит бабушка прибегала к пытке рыбьим жиром. Ее мечта превратить меня в толстого ребенка однажды осуществилась, и мы бросились, ловя момент, к фотографу, чтобы сняться в обнимку, прижавшись щеками. Привилегии, нежно клубясь, окутывали все стороны нашей жизни: от бесплатного ежегодного пошива на Кузнецком мосту для папы модного костюма из привозного английского сукна, поликлиники в Сивцевом Вражке с ковровыми дорожками, разлапистыми пальмами в кадках и ласковыми докторами из детских сказок, чистого, охраняемого подъезда, поскольку на нашей лестнице жил всесильный начальник сталинской охраны товарищ Власик, новогодних елок в Кремле, пахнущих аджарскими мандаринами, с нешуточными подарками, киножурнал для походов

на дефицитные фильмы, книжной спецэкспедиции (оформление подписки на собрания сочинений, недоступные в обычном магазине книги), театральные билеты на любые спектакли, вплоть до брони на Новодевичьем кладбище.

Летом на длинном черном ЗИМе, похожем на *зубастый* американский автомобиль конца 1940-х годов, мы выезжали жить на Трудовую, совминовскую дачу под Москвой. Там, в безразмерные июньские сумерки, одурев от велосипеда и черемухи, с отрыжкой парного молока на чувственных недетских губах, я играл на дощатом крыльце в шахматы с Марусей Пушкиной, за которой ухаживал отцовский шофер Саша в черной кепке.

Рожденный победителем (родители назвали меня в честь победы над Германией), я выиграл у Маруси первую шахматную партию в своей жизни. Мир был полон добротных вещей: фонарей, высотных зданий, станций метро, парковых, с выгнутой спинкой, белых скамеек, на одной из которой зимой в Сокольниках, несмотря на метели, мы продолжали свой бесконечный турнир. Шахматные фигуры «ходили» по поясу в снегу. Я заходил остаточным кашлем от коклюша; она, смешливая, утирала нос варежкой с дыркой. Мы были равными партнерами, много «зевавшими», путавшими «офицеров» и «королев», и по характеру оба – шальные.

Я тяжело учился проигрывать. Со слезами я бросался в Марусю конями и пешками. Помирившись, мы вместе вылавливали их из талой воды. Весна всегда наступала вдруг, застигнув нас на обратной дороге к метро ручьями, лунками вокруг лип, промокшими ботинками, новым, разряженным солнцем, воздухом. Семья с прислугой, родственниками, ближайшими друзьями, мамиными подругами складывалась в надежный клан. Я жил как у Христа за пазухой.

* * *

Из статьи первого секретаря Московского отделения ССП: Феликс Кузнецов. Конфуз с «Метрополем» «Московский литератор» 9 февраля, 1979 год:

«...» А сраму, требующего видимости прикрытия, в этом сборнике самых разносортных материалов хоть отбавляй. Здесь в обилии представлены литературная безвкусица и беспомощность, серятина и пошлость, лишь слегка прикрытая штукатуркой посконного «абсурдизма» или новоявленного богоискательства. О крайне низком уровне этого сборника говорили практически все участники совместного заседания секретариата и парткома Московской писательской организации, где шла речь об альманахе «Метрополь».

Причем парадоксальная вещь: натужные разговоры о душе напрямую соседствуют здесь с безнравственной пачкотней, какой занимается, к примеру, в рассказе «Едрена Феня» начинающий литератор В. Ерофеев, чей герой созерцает надписи и изображения на стенах мужского ватерклозета, а потом перебирается с теми же целями в женский. А чего стоит название второго рассказа того же В. Ерофеева: «Приспущенный оргазм столетия!»
«...»

Каждый русский хочет быть царем, но не у каждого получается. Русские цари всегда были очень демократичны. Моя бабушка, Анастасия Никандровна, рожденная в Костромской губернии с девичьей фамилией Рувимова, видела последнего русского царя в Санкт-Петербурге. Он без всякой охраны покупал на Невском в Гостином дворе пуговицы. Очевидно, он потерял пуговицу от шинели, не допросился, чтобы ему купили, и сам пошел покупать. Но не назло всем, а миролюбиво. Он никому не хотел показать, что он такой же, как все: стоит и

выбирает пуговицы, – но так получилось, и бабушка запомнила царя навсегда, и это входило в скромный рацион лучших воспоминаний ее жизни. Если бы Николай Второй не покупал в Гостином дворе пуговицы, возможно, ее жизнь была бы куда более бедной воспоминаниями, а тут такой случай.

– Царь был в самом деле один, без охраны? – спрашивал я в детстве, в те самые годы, когда о русском царе лучше было совсем не говорить.

А она отвечала, как будто она не только видела, как царь покупал в Гостином дворе пуговицы, а так, как если бы она была очень близка царю, так близка, что ближе некуда:

– А других я не заметила.

– И что, никакой охраны?

– Никакой.

– И дочерей вокруг него не было?

– Какой же мужчина, – удивлялась бабушка, – ходит в Гостиный двор покупать себе пуговицы с дочерьми?

– А может быть, он был с сыном? – допытывался я совсем как ребенок.

– Подожди, – говорила она, – я тебе расскажу, как все было. Я пришла в Гостиный двор покупать себе белые кружевные перчатки...

– Может быть, это был не царь, а тебе просто показалось? – пришло мне вдруг в голову.

Бабушка даже потеряла дар речи. Она смотрела на меня непонимающими глазами, как будто я украл у нее часы с руки. Потом, когда к ней вернулся рассудок, она отвернулась от меня и не разговаривала целый день.

На следующий день – дело было на даче – я ее спросил:

– А как ты догадалась, что это был царь? По погонам?

– У царя на погонах не писалось, что он – царь, – назидательно сказала бабушка.

– Ну тогда по усам?

– У всех мужчин в России были усы, – ответила бабушка, – а кроме того, у многих была борода.

– Ну тогда по походке?

– Он не ходил никуда, он стоял и крутил в руке пуговицы.

– И все догадались или только ты?

– Я других не видела. Только его.

– И ты далеко от него покупала перчатки? Сколько метров было между вами?

– Я еще не покупала, я только приценивалась.

– Ты была рядом?

– Перчатки и пуговицы продавались в Гостином дворе в одном отделе.

– И он тебе ничего не сказал? Не помог выбрать белые кружевные перчатки?

– Он был занят своими пуговицами.

– И вы так долго стояли рядом в отделе, он – с пуговицами, а ты – с белыми кружевными перчатками?

– Дурак, – сказала бабушка. – Такие вопросы не задают.

И она опять целый день со мной не разговаривала и даже за ужином молчала, хотя ужин был вкусный, потому что она хорошо готовила. Особенно хорошо она готовила пирожки с мясом. Когда она готовила пирожки с мясом, бабушка становилась румяной. С таким же румянцем на щеках она рассказывала о царе.

– А может, царь был с женой? – спросил я ее уже зимой, в московской квартире на улице Горького.

– Ты не отвлекайся, – сказала бабушка, – ты лучше уроки готовь.

– А почему ты тогда назвала меня дураком?

– Я не называла.

– Нет, называла.
– Ты обманываешь.
– Не обманываю.
– Он был один, – сказала бабушка. – Стоял в Гостином дворе и долго-долго выбирал пуговицы.

- А царица?
- Только ты никому не говори.
- Не буду.
- Что я видела царя.
- Почему?
- Обещаешь?
- Да.
- Никому-никому?
- Даже маме?
- Даже маме.
- Но маме надо все говорить.
- Но про царя маме можно не говорить.
- Он важнее мамы?

Бабушка задумалась. Она была мамой моего папы.

– Ты знаешь, что твой папа хочет уйти от твоей мамы?

– Куда?

Я представил себе, как папа уходит от мамы по лесной дороге, заваленной снегом, и мне стало очень страшно и очень холодно за него.

С тех пор, и даже сейчас, когда я покупаю себе пуговицы, особенно если в Гостином дворе в Петербурге, я чувствую себя русским царем.

В суматохе послевоенных рождений мне, очевидно, присвоили чужую судьбу. В сопроводительном документе, в общих чертах объясняющем матрицу моего земного существования, были заявлены действия и поступки, к которым я был решительно не подготовлен. В меня вселилась черная золотистая пантера с бешеной энергией, в то время как там было место для тихого, доверчивого зверька. Я был медлителен. Часами я мог завязывать шнурки на ботинках; я так и не научился их правильно завязывать. У меня всегда развязываются ботинки, и женщин, которые идут рядом со мной, это постепенно приводит в бешенство. Я прыгаю на одной ноге по улице, ища, на что бы поставить расшнуровавшийся ботинок. Сначала им это нравится как моя отличительная черта, они смеются над моей неуклюжестью, но затем эти суки сатанеют.

С другой стороны, я был стремителен. Я был ураган желаний, сметающий все вокруг себя. Это дикое несоответствие отразилось на моих детских фотографиях. Безумный взгляд черных глаз, сверлящих мир с тем, чтобы высверлить в нем новый, небывалый закон, принадлежит застенчивому сутулому ребенку с нежной, обаятельной улыбкой, возникшей на людоедских губах. Огромные дыры ноздрей готовы втянуть в себя весь ковер запахов, снять скальп травяного покрова, похитить аромат еды и питья. Этот нос с дрожащими крыльями особенно агрессивен и бесчеловечен. Огромная голова, на которую никогда невозможно было подобрать по размеру ни шапку, ни форменную фуражку советского школьника, в своей проекции имевшая череп доисторической обезьяны, разгаданный моими одноклассниками, дразнившими меня «обезьяной», была надета на худенькие плечи, и когда я хватал ее своими худенькими ручками (которые так и остались худенькими), в этом было что-то от картины Мунка «Крик».

Из статьи Кевина Клоуза:

soviet union is harassing founders of new journal, International Herald Tribune, 7. 2.1979³

MOSCOW (WP). – Soviet authorities have begun a campaign of harassment and threat to intimidate the founders of a new unofficial literary magazine that seeks to challenge state control of the arts.

The five editors of Metropol have been upbraided by the Moscow Writers Union and several have been threatened with expulsion from the Union.

State publishing watchdogs, in the two weeks since the journal was announced, have been withdrawing from circulation films, plays, novels and even magazines containing articles by any of the editors. <...>

Vassily Aksyonov, one of the Soviet Union's most popular writers and principal editor of Metropol, said he has been accused of seeking notoriety in the West so he can more easily emigrate.

Mr. Aksyonov, who has made several official trips to Western countries in recent years and whose stories have been officially translated into English, said he has no intention of emigrating. <...>

Я стою перед черным деревянным столбом. Лето. Раздоры. Сколько мне лет, неизвестно. Прямая короткая челка и совсем коротко постриженная голова. Возможно, на ней белая панاما, но я не уверен. Я уверен в другом: на столбе прибитая железная табличка. На ней – череп и кости. Их перечеркивает красная изломанная стрела. Я стою перед этим столбом в священном трепете. Мне кажется, что, если я дотронусь до деревянного столба, меня убьет. Я не знаю, что это такое, но я предчувствую, что это есть. Все последующие жизненные впечатления перекрыты и перечеркнуты этой стрелой. Я вошел в жизнь через ужас смерти. Смерть разбудила меня. Мое первое жизненное впечатление – дикий страх смерти. Он сделал меня тем, кем я есть. Я не оправился от шока. Когда я вижу череп и кости, пометы электриков, я вздрагиваю, как будто мне напоминают о смысле моей жизни.

Высокие сосны, и бродят козы. Они в меньшей степени частная собственность, чем коровы, которые практически запрещены. Смерть и козы на идиллической лужайке. Я хочу гладить коз, я боюсь их гладить из-за рогов, у некоторых они отпилены. Лето, полное коз. Я рву траву, протягиваю козочкам. Они блеют и какают мелкими шариками. Я кормлю коз травой. Коза – исходное животное моей жизни. Козлиная песня – мой младенческий жанр. Я протягиваю руку, чтобы дотронуться до столба, и отдергиваю ее. Я играю со смертью. Ужас смерти все застилает. Потом все гаснет. Но в то же лето сознание просыпается еще раз, и снова по поводу смерти.

Мы едем в папиной шоколадной «Победе» по шоссе. Вокруг поля. Вдруг начинается гроза. Раздается страшное шипение и – жуткий взрыв грома. Молния бьет в электрический столб у самой машины. Основа столба превращается в огненную пальму. Во все стороны летят искры. Смерть устраивает представление, сильнее которого я не видел больше никогда, ни в театре, ни в кино. Я получил задание и теперь должен с ним справиться. Бог-громовержец, кем бы он ни был, ткнул в меня пальцем.

Громовержец навел порядок в моей жизни. Это был мой первый порядок. Позже я часто сбивался, ходил в хороводе случайностей, но смерть стала моим жизненным ориентиром, она отбивала свой ритм, и я наконец услышал его. Заложенный в меня с рождения мощный механизм страха смерти сработал. К этому механизму я не имею никакого отношения – это моя персональная матрица. Я не знал ни лампад, ни икон. Родители меня не крестили. Бабушки тайком не отнесли меня в церковь. Христианством меня обнесли. В Советском Союзе счита-

³ Перевод см. в Примечаниях.

лось, что смерти нет. Смерть – самоволка. Марксистская философия шла мимо смерти, зажав нос. К покойникам относились безобразно, как к дезертирам. Гробокопательное дело было поставлено из рук вон плохо. Долгие годы после революции вокруг кладбищ смердели незакопанные трупы. Их ели одичавшие собаки, включая шикарных гончих и борзых. Потом был запущен в жизнь скорый способ избавления от покойников – кремация. В стране выросли музыкальные стволы крематориев. В могильщики шли одни алкоголики. Со смертью мне пришлось разбираться самому, без посредников. Отсутствие поблизости попов превратило меня в маньяка смерти.

Когда мое лицо озарилось праздничными салютами, когда в нашу квартиру папин шофер Саша (который склонил Марусю Пушкину к сожителству, обещая жениться, но оказался негодяем, потому что в жизни, нам не принадлежащей, он был женат) вносил новогоднюю елку и мы начинали ее украшать, вставая на стулья и устремляясь к вершине, чтобы повесить на макушке красную звезду, на ветки – шары и рыб, а внизу поставить моего первого детского бога с румяным, по-русски курносый лицом кучера, я чувствовал, что это – передышка. Бог-мороз был вырезан из мировой мифологии грубыми ножницами и оставлен один, пока не осыпется елка, на две недели, до старого Нового года, но даже этот маленький осколок мирового пантеона согревал меня своими дарами. Он говорил о тайне мира, он был моим союзником.

Рано утром первого января, когда родители еще спали, я выпрыгивал из своей кровати, которая тогда стояла в родительской спальне возле окна с горячей батареей центрального отопления, и убежал в пахнущую хвоей столовую, чтобы залезть под елку. Дед Мороз с лицом кучера был окружен подарками.

От перегрева батареи мне часто снились черные народные демонстрации. Мою младенческую жизнь, объятую смертью, лечили праздники и подарки. Жизнь состоит из праздников и подарков; все остальное – недоразумение. Жизнь состоит из отвлечения от смерти. Мне не привили морали беды, рабства, трусости. Я не страдал от унижений коммунальной квартиры. Моя спонтанная мораль состояла из безграничного доверия к миру, полной открытости к нему. Я был та самая открытая душа, которая рождена для того, чтобы стать танцующим богом.

Я не понимаю, как можно работать целый день, из года в год, за идиотскую зарплату, с коротким перерывом на обед, окриками начальства и мрачной грубостью коллектива. Я догадываюсь, почему надо работать, но не знаю – зачем? Зато я знал с раннего детства, что подарки делятся на два вида. Есть подарок-мечта, о котором не смеешь даже думать, а если и думаешь, то только перед сном. Например, железная дорога с большим количеством вагонов, мостов и рельсов. Такие подарки обеспечивают везение во взрослой жизни, они всю жизнь переворачивают и направляют в правильную сторону. А тут мама тихо подойдет к тебе сзади, и ты даже не заметишь, как она подойдет, ты весь в подарке, и погладит по голове. Вот это момент полного счастья.

А есть подарки «отвяжись от меня». Они покупаются на скорую руку, по необходимости, и от них исходит странная энергия, они пахнут вареными макаронами. Ну, какая-нибудь игра с фишками или «ненастоящая» пожарная машина с лестницей на шнурках. Сидишь перед таким подарком, и становится жаль и себя, и родителей. Виду не подаешь, радуешься натужно, обнимаешь маму, а сам думаешь: «Зачем вы так? Я же все понимаю».

Из письма моего брата Андрея (он младше меня на восемь с половиной лет) родителям в Вену

*Москва, 8. 5. 1979
Дорогие мама и папа,*

еще одно-два письма, и закончится наше многолетнее эпистолярное общение – целая эпоха в моей жизни. <...> На письмах я учился писать, да так до конца и не научился – пишу вымученно и скверно.

Вот и сейчас я в очень затруднительном положении – не знаю, что и написать, чтобы утешить и подбодрить вас, ибо сам пребываю в полной растерянности от той ужасной ситуации, в которую и поверить-то трудно. Вижу (точнее, слышу в ваших голосах) расстройство и горечь от случившегося, вижу также Витины переживания, последствия морального удара, который он, так беспечно отказавшись от просчетов исхода, нанес сам себе, и боюсь, очень боюсь, чтобы все это не сказалось фатально на отношениях в нашей семье, не подорвало бы их. <...>

Разбить память, как палатку, натянув на несколько колец веревку воспоминаний, и ждать, когда оттуда выползу я – художник «из ничего». Семейный альбом. Ивана Петровича Ерофеева я знаю только бессознательной памятью, которую я никогда не смог вывести на поверхность, как бы я ни вглядывался в наши с ним общие фотографии – на них в дачный солнечный день мы чиним примус, – как бы я ни тужился вспомнить его пенсне и тюбетейку.

ДЕДУШКА. Хорошо быть милиционером. Стоишь на посту, крутишь палкой туда-сюда – и никуда.

БАБУШКА. Шутник! Он умел шутить, как никто другой.

Шутник-пришелец, которого я так и не распознал, прародитель юмора по ерофеевской линии, он стал холмиком в девятнадцатом секторе Ваганьковского кладбища, но бабушка ласково внушала мне, что в Раздорах дед часами играл со мною в машинки.

Я с младенчества был страстным игроком в игрушки. Я строил в песочнице город, шоссе, мосты, железные дороги, а затем прицельно бомбил красно-коричневым полосатым мячом для детского футбола. Бабушка говорила, что дед играл со мной и в футбол. Я был азартный футболист дачного участка и лесных полян, где деревья находили свой смысл лишь как стойки футбольных ворот, их хотелось то раздвинуть, то сузить, но, не помня деда, какому призраку между березой и осиной я забивал голы?

Кроме того, я был сумасшедший велосипедист на трехколесном велосипеде. Я бешено вращал педалями, меня трясло на одеревеневших змеях – корнях сосен, ползущих через лесную тропинку, – я подлетал, звонок звенел в воздухе сам по себе. Особенно я любил, разогнавшись, проезжать через лужи, высоко подняв и как можно шире расставив ноги. Часто застревал на середине, крутил рулем и долго оглядывался. Я знал, что застряну, но это было лишнее, глупое знание, и я все равно ехал в лужу. Складывая мозаику творческих первопричин, я понимаю, что роль луж в моей детской жизни трудно приуменьшить. Это были не только препятствия, но и искушения. Я любил бить по лужам палками. Брызги летели во все стороны. Я стоял весь мокрый. Я был предметом чистого наказания. Но еще больше я любил медленно водить палкой в луже, а затем тыкать палкой в чавкающее дно. Чавкающий звук меня завораживал. Я любил отпечатки велосипедных и автомобильных шин на грязи; идея оставить след, наследить сводила меня с ума. Бабушка всегда ругалась, что у меня грязные руки, грязь под ногтями. Меня все детство отсылали мыть руки и чистить ногти. Я был скульптурной композицией типа девушки с кувшином – мальчиком у дачного рукомойника, прибитого к дереву. Из чавкающих луж возникла моя любовь к женщинам.

Не опознанный мною Иван Петрович умер от инфаркта в Кремлевской больнице на улице Грановского. Когда я подросток, бабушка, ссорясь со мной, говорила, что это я убил дедушку. На меня, как удавку, набрасывали вину, и я с ужасом смотрел на бабушку своими жгучими глазами.

БАБУШКА. Ты капризничал и требовал, чтобы он тебя носил на плечах. Он, бедный, носил, а ему нельзя было.

Это было убедительно. Тогда все кого-то убивали. Кто – немцев, кто – своих. Я убил дедушку.

БАБУШКА. Он не дожил двух недель до того, чтобы получить орден Ленина.

Я виноват во всем. Если следовать этой семейной логике, то, раз я убил деда, я должен был убить и своего отца.

Из моего последнего письма родителям в Вену от 8 мая 1979 года:

Дорогие мама и папа,

тяжел, очень тяжел тот моральный крест, который события возложили на меня. Я даже не знаю, что и сказать: меня наказали очень изоциренно – вами, вашей горечью и, понятно, досадой на меня. Можно, конечно, пуститься мне сейчас на бумаге в объяснения и дать волю накопившимся эмоциям – но что это даст? Парадокс жесток: желая сделать нечто нужное и правильное, я нанес травму самым близким мне людям, от которых я ничего, кроме хорошего, не видел, – вам. Я молю Бога только об одном: чтобы в эти дурные, болезненные дни мы сохранили единство нашей семьи, сохранили взаимопонимание и доверие. Я постоянно думаю обо всем этом...

Я молчал, как партизан, до трех с половиной лет. Единственное исключение: ай! Когда я стучался в кухню соседской бескрайней квартиры, где жил великан Борис Федорович, с живыми, внимательными глазами, вместе с целой коллекцией родственников, приживалок, мяукающих котов, выползавших из разных комнат, меня спрашивала через дверь их домработница, полька Зося:

– Кто там?

– Ай! – отвечал я вместо «свои».

И все надо мной смеялись. «Ай» стало моей кличкой, паролем, солнечной безрассудной сущностью. Я ломился в жизнь с клоунским криком: «Ай!» В период младенческого сновидения я был, как член африканского племени догон: космизация человека и антропоморфизация космоса – два параллельных процесса, определяющие его мировоззрение. Я искал свое отражение во всех зеркалах антропоморфной вселенной, где бабушка, Маруся Пушкина, клоп, муравей являются хранителями слова. Именно посредством этой затянувшейся немоты слово сделало меня своим носителем, выбрало меня, переписало на меня свою предстоящую информацию.

Я и был тот ребенок-слово, родившийся на свет ради его произнесения. Все дети разговаривали вокруг меня – я молчал. Африканские мистики знают, что существует множество способов и средств, цель которых – упростить рождение слова. Мне, жившему в Москве, явно не подходили основные из них: трубка и табак, употребление ореха колы, спиливание зубов, обычай натирать зубы красящими веществами, татуировка рта. Я догадывался, что рождение слова сопряжено со значительным риском, ибо оно нарушает гармонию молчания. Молчание, тайна обладают инициационной значимостью, так как мир изначально существовал без слов. Моя речь до сих пор затруднена, я инстинктивно косноязычен, а в молодости с этим вообще была беда (я говорил, краснея от смущения), губы напрягаются, их сводит судорога, мне неприятны легко говорящие люди, телевизионные дикторы новостей, комментаторы, я отношусь к болтунам, как к предателям. Знаменитый сталинский плакат честной женщины с поднятым к губам пальцем: не разболтай тайну! – мне нравится метафизически, мне страшно говорить: я боюсь вспороть мир, из которого вылезут кишки явлений и следствий, я знаю, что в причинно-следственных связях нет никакого смысла. В своем младенческом сновидении, изна-

чально, я не нуждался в речи, ибо все, что существовало, понимало неслышимое слово, беспрерывный шелест воздуха.

Обстановка складывалась следующим образом. Я видел грубое, воплотившееся в дерево фаллическое божество. Я видел небесного демиурга, растекающегося водой, как будто из фонтана. Они обменивались информацией без слов. Но я не знал, будучи Аи, что жена фаллического божества, породившего не только растения, но и животных, ревнует мужа ко всем женщинам, созданным демиургом. Я чувствовал, что там было что-то не то, я не мог тогда это понять, но теперь понимаю, что он с ними совокуплялся. Тогда я чувствовал скорее напряженность их отношений. Возможно, женщина не вытерпела и тоже изменила мужу: вот она едет в беленькой блузке в московском метро домой, следующая станция – «Маяковская», пора выходить на платформу, и тогда фаллическое божество, похожее на дерево, преследует ее, хватая за горло и сжимает его. Между неверными супругами от столь бурного выяснения отношений в спальне, с расписным дагестанским ковром во всю закроватную стену, в шуме дыхания возникают паузы, необходимые для порождения слов и возникновения речи. Я начинаю понимать, что слово – последствие измены, форма ее дискурса, и заползаю под диван.

Под низким диваном пыльно, валяются давно утраченные предметы, игрушки, монеты мелкого достоинства, фантики от скушанных конфет. Я молчу, пораженный открывшейся мне истиной. За мной под диван лезет в коричневых чулочках моя сверстница и троюродная сестра Лена, приехавшая в Москву погостить из Керчи. Она хочет у нас поселиться, прописаться, но что-то мешает. Слово «Керчь» до сих пор хрустит песком у меня на зубах и почему-то похоже на слово «сердце». У нее папа – военный летчик с летательной фамилией Елагин. Летом мы играли с ней на Трудовой в густом, расцарапывающем руки малиннике в перевязочный пункт: показывали друг другу свои младенческие тела, гениталии. Я понимаю, что я сам отчасти состою из Лены, из ее сочленений, сосочков, пораженный не только тайной слова, но и ее вертикальным надрезом. Я знаю, уже под диваном, что мне предстоит параллельная жизнь, но не знаю, с кем и когда. Андроген запущен в меня. Это сильнее, чем помешательство. Большеголовая, с белыми худыми провинциальными косичками, Лена оказывается первым воплощением меня-девочки, самого близкого существа, жизненного собеседника. Мне не хватает себя. Мне надо заговорить, но в моем распоряжении нет ни колы, ни даже табака. Однако от тишины меня сейчас разорвет. Лена, как опытная разведчица, лезет ко мне в короткие штаны. Она вытаскивает мой член и подползает к нему ртом, извиваясь радужной змеей. Сопя, она мне делает минет. Наши лица искажены блаженством троюродного инцеста. Оно нарастает с каждой секундой.

– Милая, – говорю я, глядя Лену по голове.

Она не выдерживает, вылезает из-под дивана, несется в столовую.

ЛЕНА. Тетя Галя, тетя Галя, Витя заговорил!

– Почему так много милиционеров?! – возмущенным голосом ору я, в свою очередь вылезая из-под дивана.

Я вижу, как иду по Благовещенскому переулку мимо комиссионного магазина с маленькими витринами, словно стесняющимися своих буржуазных товаров, и мне навстречу марширует рота милиционеров. Куда они? Зачем?

МАМА. В баню пошли.

Действительно, у милиционеров под мышками банные полотенца. Они маршируют мыться.

– Витя заговорил! – кричит мама.

– Диссидентом вырастет, – качает головой Андрей Михайлович Александров-Агентов, будущий помощник Брежнева.

Я затрудняюсь сказать, когда в самом деле я потерял невинность: сдается, что я родился виновным и виноватым. Где-то вдали, в перспективе столовой, возникает былинка фигура

бабушки Лили, младшей сестры Анастасии Никандровны. Она играет в семье роль святой: у нее никогда нет денег. Когда она гостит у бабушки, та следит, чтобы она по ночам не переворачивалась на диване, чтобы его не продавить, а бабушка Лиля всегда складывала руки и говорила:

– Настенька, Настенька...

Память похожа на труп, обглоданный любимой собакой. Оставшаяся одна в квартире, она часами воет от страха и голода, бегая вокруг убитого хозяина, но голод пересиливает ее преданность: она объедает хозяина, сначала осторожно, прежде всего его голые руки, а потом не выдерживает, ее разум мутится, и она рвет его, мотая мордой в разные стороны, урча, на куски. Воскрешение объединенного трупа хозяина – непредставимое чудо, но иногда оно происходит. Хозяин вздрагивает. Куски рваного мяса и кожи прилипают со свистом назад к его рукам, ногам, ягодицам, гениталиям. Съеденные внутренности выблеваются из собачьей пасти, устремляются в раскрытый живот хозяина. Дыры от пуль затягиваются. Пятна крови исчезают со стен, кровавая лужа улетучивается с пола. Глаза вставлены в глазницы. Живот затягивается и обрастает волосами, которые когда-то любили гладить женщины. Запах тления исчезает. Сердце бьется. Хозяин встает, идет к вешалке; радостный пес, махая хвостом, бежит за ним в предвкушении прогулки. Ошейник надет. Дверь открыта на площадку лестницы. Хозяин и собака сбегают вниз, хлопает дверь, выходят на улицу. Пока собака делает свои дела в ближайшем сквере, хозяин оглядывается. Он вышел на прогулку не для того, чтобы мстить или заниматься разборками. Он ищет сладостного примирения не только со своими врагами, но и с самим собой. Он улыбается. Он счастлив.

Я пил за товарища Сталина только однажды в жизни: в свой день рождения, когда мне исполнилось пять лет. Собрали детей, среди них двух блестящих братьев Подцеробов: дошкольника Кирилла, который стал сначала пьяницей, блевавшим в тазик, всегда наготове стоящий у него под аскетичной кроваткой, а затем – наркоманом, ездившим во сне и наяву на плечах своей бабушки по их огромной квартире, и школьника Лешу, цельного, целеустремленного мальчика, рано и экстагически полюбившего почему-то Ближний Восток, который крупномасштабно висел у него на стене (глядя на эту карту, я завистливо хотел что-то так же пламенно полюбить, какой-нибудь кусок земли, – визуально мне нравилась Африка, но я не знал, зачем она нужна, Америка была выкрашена в холодный враждебный цвет, любить Россию я тогда не догадался – так и остался ни с чем), впоследствии домчавшегося, как по рельсам, прямо к месту своего жизненного назначения: он стал советским послом в арабской стране. Леша все знал лучше всех и уж, во всяком случае, лучше меня. Со мной он держался снисходительно и говорил так уверенно и точно, что я терялся и, чтобы хоть как-то поддержать разговор, задавал глупые путанные вопросы, в одну секунду меняя свои взгляды на диаметрально противоположные. Мама, все мое детство панически боявшаяся того, что из меня вырастет лопух – я не подавал никаких признаков вундеркиндрства, – ставила Лешу и маленькую красавицу с черными локонами, Милочку Ворожцову, мне в пример. Надежды на меня было мало, честно говоря, практически никакой, и я даже не смел влюбляться в Милочку, сознавая свое скудоумие. Только сели за стол, только разлили по стаканам томатный сок, только Маруся с кухни принесла дымящуюся кулебяку, как старший сын Бориса Федоровича, вскочив со стула, вытянул губы вперед, будто собрался плюнуть (он всегда говорил, как плевался), но вместо этого провозгласил первый тост не за меня, а за Сталина.

ЛЕША. Я предлагаю выпить за товарища Сталина!

Все встали. За столом возникло не то чтобы замешательство, но моя мама была удивлена: у нас дома не пили за Сталина, к нашему дому это не подходило – не политически, а по пафосу. Я почувствовал это замешательство и, как обезьяна, полез чокаться, чтобы сгладить. К тому

же мне ужасно нравилось чокаться, потому что все взрослые чокаются, а мне до этого все как-то не удавалось по-настоящему чокнуться. Кроме того, я снова забалдел от чувства восторга перед мальчиком, который был старше и совершеннее меня.

Застолье кончилось кровопролитием. Носясь вокруг стола за гостями, за недоступной Милочкой, дочкой генерала, которую было невозможно догнать, я налетел на угол стола и разорвал себе угол рта. Он так и остался надорванным. Рот, если присмотреться, у меня несимметричный.

Мама схватила меня, обливающегося кровью, и повезла в поликлинику на Сивцев Вражек, где в холле было много пальм и где нас решительно отказался пропускать охранник, потому что мама забыла свой пропуск. Я испуганно обливался кровью – нас не пускали. Нас так долго не пускали, что у меня осталось впечатление, будто все детство у меня изо рта лилась кровь. Мама превратилась в бешеную тигрицу, орала на охранника, молила и угрожала, но охранник был неумолим.

Он так и остался неумолимым.

Болезненное несоответствие между частями своего «я» я искупил в отцеубийстве. Благодаря ему я привел себя в соответствие с предназначением, смысл которого стал разматываться по ходу дальнейшей жизни. Я впрыгнул в свою судьбу, хотя не раз в ней снова сомневался. Детские разрывы, разорванный рот остались со мной навсегда. Обретенная устойчивость не стала пожизненным мандатом. Человеческие слабости отвлекали меня и позже, ослабляли внимание, не давали возможности преодолевать испытания с легкостью натренированного спортсмена. Напротив, я больно падал и долго тер свои ушибы. Но мне все-таки удалось кое-как разовратиться (хорошая описка) – разобраться в том коктейле, который я собой представлял, в его ингредиентах. Не все я понял, и не все мне суждено понять, но помогла к тому же Россия. Не знаю, стоит ли благодарить. Я был отправлен туда (сюда) с какой-то сокровенной миссией. В России жить – все равно что ходить по потолку. Это – перевернутое зрение. Я не знаю, где моя настоящая родина. Скорее всего, ее нет на карте. Но Россия была местом моего детского рая.

2

Своим рождением я обязан такому кромешному нагромождению мировых обстоятельств, что вынужден признать его делом голого, но по-своему филигранного случая. Плод «случайного семейства» *par excellence*⁴, я, скорее всего, среди всевозможных гербовых атрибутов, не без помощи поэта Осипа Мандельштама, выбрал бы для себя *кривой кий, щербатый шар и дырявую лузу*, хотя бы потому, что ни мой отец, ни я никогда не были приличными бильярдистами. Даже ближайшие предки в моем сознании живут безымянно, определяемые на скорую руку полустершимися профессиями, иногда подлинными, вроде артельщика или попа, иногда сугубо фиктивными, вроде профессионального революционера, каковым бабушка не без тайного умысла прописала в моей памяти своего неведомого мне отца, Никандра. Бабушка вообще была выдумщицей. Правда, со стороны моей мамы мы имеем легкое касательство не только к *личному* и потому маловнушительному дворянству ее деда, но также через весьма запутанную систему свояков и своячениц, а точнее, через довольно красочный род Кьяндских, к русской культуре: к изобретателю, по крайней мере, национального радио Попову, а стало быть, к семейству химика Менделеева, а стало быть, в конечном счете, Александру Блоку. Но это даже не десятая вода на киселе, а так, семейные опивки. Не зная, с чего начать разговор о *частном заговоре* обстоятельств, противных чести и здравому смыслу, я бы все-таки остановился на малоизвестной, неудачной англо-американской интервенции под Мурманском после Октябрьской революции. Как-то по телевизору показали *их* провалившиеся заснеженные могилы. Бабушка-выдумщица по отцовской линии, Анастасия Никандровна Рувимова, была очень хороша собой. Она жила на самой границе с Финляндией, в Сестрорецке, где у ее отца было пять летних дач для сдачи внаем. Она ходила по пятьдесят верст в день на лыжах и нравилась финну Юхо. Незадолго перед смертью, смотря по телевизору хоккейный матч Россия – Финляндия, она с легкой ностальгией по пропущенной спокойной жизни сказала мне:

– Вышла бы за Юхо – болела бы за Финляндию.

За ней ухаживал рослый человек с черными красивыми кругами под глазами по имени Иван. В 1918 году бабушка, спасаясь от голода, перебралась с семьей из Сестрорецка в Петроград, оттуда – в Карелию. Иван не скрывал своих намерений жениться на Анастасии, но тут напали американцы.

Один молодой *коварный* человек в пенсне служил на Карельской железной дороге бухгалтером. Большевики сделали его ответственным за мобилизацию. Прельстившись красотой моей бабушки, Иван Петрович Ерофеев первым внес в мобилизационные списки рослого Ивана, хотя тот имел белый билет. Ивана забрали, послали под Мурманск, и он пропал без вести в схватке с американцами.

Далее – оперная вставка. Слышится ария Татьяны из оперы «Евгений Онегин»: «*Но я другому отдана. Я буду век ему верна...*» В 1920 году, вернувшись в Петроград, Анастасия Никандровна случайно на улице встретила своего *первого* Ивана.

– Поздно, Ваня, – сказала бабушка, уже беременная моим отцом. Американцы, по-моему, не зря гибли под Мурманском.

Впоследствии, чтобы жилось веселее, бабушка разрисовала яркими аляповатыми красками генеалогию своего мужа. В результате мой прадед, Петр Ерофеев, картинно вышел деревенским сексуальным богатырем в смазных сапогах, зажиточным мельником в тереме с кружевными наличниками, сменившим множество жен, отцом девятнадцати сыновей, последний из которых родился, когда ему было под восемьдесят. Сам человек в пенсне раскрашиванию

⁴ В полном смысле (*фр.*).

не поддавался, но был отмечен кротким нравом, рассеянностью, подтвержденной историей с эскимо, растаявшим у него на прогулке в воскресных брюках, и тем, что бабушку в сердцах звал «комиссаром», что смутно отражало его настроения после чекистского переплета на Гороховой, куда его привели на допрос, под горячую руку Феликсу Дзержинскому, потребовавшему от него под дулом револьвера указать тайник с золотом, которое у деда не водилось.

ИВАН ПЕТРОВИЧ. Бог с вами! Какое золото!

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Буг не с нами. Буг – против нас. Но мы его добьем.

Иван Петрович понял, что Дзержинский произносит «Бог» по-польски, и этот «Буг» показался ему далеким и темным богом. Он снял с пальца обручальное кольцо и протянул Дзержинскому.

ИВАН ПЕТРОВИЧ. Все, что есть.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Наденьте назад! Без демонстраций! Немзер!

Вошел Немзер с лицом поэта.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Отправьте этого гражданина (он смерил взглядом личинку Ивана Петровича, обсыпанную мукой)... домой!

В моих генах так прочно засела смерть, что первым младенческим впечатлением и стал дачный электрический столб с черепом и костями – столб ужаса: дотронешься – убьет. Когда бабушка по молодости лет решила записаться в большевички, чтобы участвовать в продразверстке, дед пригрозил:

– Вступишь в партию – разведусь!

– Жаль, – сказала мне бабушка в детстве. – А то была бы ветераном партии, по радио бы выступала.

В 1920-е годы супруги, вместе с полстраной, записались в брюзжащие обыватели, с мукой вставшие в социализм. У них-то и родился мой отец, который благополучно дожил до восьми лет и утонул на каникулах в Волге – *чудом* откачали. Отец, никогда не вспоминаясь впоследствии свое скучное, болезненное детство, кончил школу на одни пятерки, подал документы в Арктический институт, восхищаясь подвигами советских героев-полярников. Но челюскинца из него не получилось – не прошел по здоровью (слабые легкие). Тогда, на радость моему деду, главному бухгалтеру профсоюза железнодорожников, он подался в Железнодорожный институт с нечеловеческой аббревиатурой ЛИИЖТ, похожей по звучанию на тормозной путь паровоза, но в последний момент он стал *случайно* учиться в третьем вузе: пришло на ум поехать сражаться в Испанию добровольцем. Не имея призвания к филологии, равнодушный к «художественной литературе», которая всегда бралась им в кавычки, он поступил на филфак Ленинградского государственного университета, чтобы во имя мировой революции выучить испанский язык.

По коридорам университета ходили переводчики с новенькими орденами – мой юный отец мечтал на подводной лодке поплыть вместе с ними к берегам Испании. Худой, в *единственной* коричневой велюровой курточке, он уже был хорошо сложившимся советским человеком, волевым комсомольцем до мозга костей. Но вместо испанского, по случаю победы Франко, он стал учить французский.

– Товарищ Ерофеев, – спросит его через десять лет Сталин при личном знакомстве в своем кремлевском кабинете, где на главном месте была выставлена посмертная маска Ленина. – Вы где родились?

Сталин, по словам отца, всегда говорил «очень глухо, и грамматически у него было много ошибок». Было четкое впечатление, недавно добавил он, что это человек «кавказской национальности». Отец не расслышал вопрос вождя.

– В Ленинградском государственном университете, Иосиф Виссарионович.

– Прямо так-таки в *университете* и родились?!

Сталин невероятно развеселился. Он стал смеяться, хватаясь за бок, всем видом показывая: ну, ты меня уморил! ой, не могу!

В этот момент на пороге сталинского кабинета возникли Берия и Молотов, чтобы присутствовать при беседе с иностранным гостем. Они стояли, ничего не понимая, симметрично поблескивая своими пенсне. Как этот худенький молодой человек мог так рассмешить вождя? В чем здесь секрет и что за сговор? Они не позволили себе спросить – Сталин не считал необходимым с ними объясниться.

– Ну ладно, рассмешил, – бросил он отцу дружелюбно.

Отец был *замечен*.

– Приступим к делу, – сказал Сталин серьезным тоном, приглашая садиться. – Ну, вы спокойно работайте, не волнуйтесь, – кивнул он отцу. – Я говорю не очень громко, вы можете переспросить. Зато я говорю медленно...

Вызвал звонком Поскребышева:

– Приехал гость? Пригласите!

Вошел быстрым шагом Морис Торез, глава французских коммунистов.

– Ну что? Бонжур! – сердечно приветствовал его Сталин.

Отец начал переводить. Иногда он чувствовал на себе внимательный взгляд немигающих, из-под пенсне, глаз Берии. Сталин, по словам Молотова, называл эти глаза змеиными.

Предшественник отца, переводивший Сталину с французского языка, был отстранен от работы, запутавшись в авиационной терминологии военной делегации из Парижа.

– У меня такое впечатление, что я французский знаю лучше вас, – сказал ему Сталин.

– Сталин держался *скромно*, – отметил отец по поводу первой встречи с вождем. – На меня сильно подействовал его шарм.

Однако развеселить «отца народов» мой отец смог только потому, что в юности каждый год в середине марта он становился жертвой загадочных ангин с нарывами в горле и сорокаградусной температурой. Поступив на филфак, отец и не подозревал, что российская филология не менее опасна для жизни, чем гражданская война в Испании.

– Двенадцатого марта 1939 года я снова валялся в постели и страшно переживал, что по болезни не могу участвовать на вечеринке. Наша группа справляла день рождения однокурсника, поэта Сергея Клышко.

Клышко был отчаянной головой. Он писал стихи против Сталина прямо на лекциях, склоня к бумаге вихрастую шевелюру. Они с отцом дружили, виделись каждый день. Оба нравились девушкам. Отец уговаривал его быть поосторожнее. Тот отмахивался. Подвыпив, в комнате общежития Сергей декламировал отцу городской фольклор:

*Сталин, Троцкий и Ульянов –
Это шайка хулиганов.*

Отец неопределенно усмехался. Всех, кто был в тех веселых гостях у Клышко, на следующий день арестовали как участников «антисоветского сборища».

– Меня это потрясло. Но я знал, что Сергей не стесняется в поведении, рассказывает анекдоты, читает вслух антисоветские стихи. Наверное, кто-то стукнул. Девушек вскоре выпустили, а ребята сели надолго, кому-то переломали ребра. Отбили почки у Кости Иванова – его били до полусмерти, требуя показаний, хотя он в тот вечер, выпив водки, заснул прямо за столом и ничего не видел и не слышал. Сергея приговорили к «вышке».

– За стихи – к «вышке»? – меланхолично спросил я.

– Мне было ясно, что не стоило их читать.

С этим трудно спорить. Наш разговор пошел по кругу и быстро угас. Массового террора, который был вокруг, везде, рядом, о котором написаны тысячи книг, в отцовской семье долгое время не замечали. Не отмахивались от него, не забивались в угол, а не обращали внимания. Но сажали так густо, что все-таки, в конце концов, стало жутко. Трясли Ленинградский университет, полный филологических звезд. Бородатого преподавателя латыни на глазах у отца НКВД взял прямо в аудитории. Его арестовали так элегантно, молодой чекист даже подал ему пальто, и его так дружелюбно вывели из аудитории, похлопывая по плечу, что латинист шел улыбаясь, словно в преподавательскую столовую выпить чаю. Из близкого семейного круга знакомых, собиравшихся у Ивана Петровича и Анастасии Никандровны на Загородном проспекте играть по субботним вечерам в «дурака», выхватили железнодорожника, партийца-орденоносца Федякина. Федякин иногда задавал абстрактные вопросы:

– Можно ли, Иван Петрович, во время дождя пройти по улице между капель воды, не замочившись?

– Ну, для этого сначала надо нам с вами похудеть, – отшучивался Иван Петрович.

Когда Федякин пропал, семья пожала плечами: за что? – но после решила, что «им виднее».

Жизнь отца переменялась в один миг. Второкурсника вызвали по повестке в сентябре 1939 года в колыбель революции – Смольный. Отцовская судьба в коммунистическом чине секретаря горкома приветливо сунула ему в руки газету «Ленинградская правда» с фотографией Сталина, Молотова и Риббентропа, обменивающихся улыбками. Это была советско-нацистская свадьба.

– Знаешь, кто этот молодой человек рядом со Сталиным?

– Переводчик, – смекнул отец.

– Хочешь стать таким переводчиком?

– Да.

– Кто твои родители?

Беспартийный железнодорожник Иван Петрович не вызвал возражений. Анастасия Никандровна тогда уже не работала. Она ушла с места секретаря Ленинградского отделения Союзфото, поставлявшего фотографии местным газетам. Она принимала заказы на съемку, отправляла пленку в проявку, затем – в печать. Продвинутый мир фотографии сделал ее значительной и даже немного капризной особой. Все мое детство она называла мне какую-то забавную фамилию своего начальника, вроде Тюнькина-Рюмкина (вспомнил: Тютиков!), к которому относилась с подчеркнутой нежностью: Тютиков для нее был важнее всех клиентов на фотографиях и уж тем более волочившихся за ней фотографов. Между тем бабушка познакомилась с разными знаменитостями, «головкой» советских писателей. О писателях она неизменно отзывалась недоброжелательно и очень переживала, когда я стал писателем.

БАБУШКА. Писателем? Что же ты! Все писатели – пьяницы.

– Зайдет, бывало, стоит качается, – говорила она, перемешивая Твардовского с Симоновым, Катаева с Фадеевым.

Это было время коллективных фотографий. Все снимались рядами, группами, заводами, школами, больницами, превращаясь тем самым в советских людей. Однажды Союзфото пропустило коллективную фотографию, на которой затесался враг народа Пятаков. Бдительная газета не напечатала фотографию, но поднялся скандал.

– Откуда я знала, как он выглядит! – говорила бабушка любимому начальнику Тюнькину-Рюмкину в свое оправдание.

На всякий случай, по требованию Ивана Петровича, она быстро уволилась. Тюнькина-Рюмкина выгнали из партии. Иван Петрович завел кота, назвал Жмуриком и стал его

баловать. Если бабушки не было, кот жил на диване. Когда раздавались ее шаги по лестнице, Иван Петрович кричал:

– Комиссар идет!

Жмурик срывался с дивана, носился по квартире и прятался за помойное ведро.

– Мы отправим тебя в Москву, – сказал отцу Смольный.

Отец не возражал. Впоследствии он признался мне со смешком, что если бы не согласился, то в конце концов защитил бы какую-нибудь кандидатскую диссертацию о роли артиклей или приставок во французском языке XVII века. Филология не внушила ему уважения. Она была тоскливой, как его детство. В указанное время отец прибыл на Октябрьский вокзал с деревянным чемоданом, чтобы ехать учиться в Высшую школу переводчиков при ЦК ВКП(б). Расставание на перроне с родителями, Жмуриком (Иван Петрович держал его на руках) и друзьями было волнующим.

– В добрый путь! – сказали они.

– До скорой встречи, – ответил он.

Отец вышел в люди особого внеиндивидуального зрения. Благодарность режиму за возможность высшего образования, движения вверх – *ничто* сама по себе. Они *не использовали* систему, как проходимцы, а пропитывались ею насквозь и видели ровно то, что она хотела, чтобы они видели. Они переставали *быть*, изначально подсознательно готовые к закланию. Система не столько убивала несостоявшихся поэтов, как это бывает при всех мало-мальски уважающих себя диктатурах, сколько питалась небытием. Жертвоприносительный террор был не прихотью, а логикой ее выживания, гениальным математическим выводом из *разницы* между обещанным будущим и человеческим материалом, отправленным на переделку. Сталин объявил войну человеческой природе. Такого не делал никто (святая инквизиция – *слабаки!*) никогда в истории. Народ – подлец, товарищи по партии – говно. Всех их, даже Молотова, тянет назад, в правый уклон, в кормушку частной собственности. Сталин стриг их, поколение за поколением.

СТАЛИН. Я желаю вывести морозоустойчивые лимоны.

Метафизический вызов, достойный бывшего семинариста. Успех мероприятия зависел как от русской податливости, так и от постоянного обновления, очищения от тех, кто держал в уме эту *разницу*. Будущее было как радостный вздох от снятия антиномии.

Я сначала удивился – и понял: зря, когда отец сказал, что он не волновался в присутствии Сталина. В отличие от *волновавшейся* при виде вождя интеллигенции, у которой рождались от волнения анекдоты о Сталине, отец существовал одним из его *продолжений*, добавочной квантой света. Из этого положения трудно вернуться домой.

Переводческие курсы при ЦК ВКП(б) на Миусской площади – Царскосельский лицей образца 1939 года. На сто человек курсантов – сто человек преподавателей и администраторов. Курсантов учат языкам иностранцы, а в свободное от учебы время их хорошо кормят и даже убирают за них в комнатах. Здесь учиться на английском отделении моя глубоко задетая мама-новгородка: папа начал было за ней ухаживать, даже раз поцеловал на свидании, были и письма, гордо подписанные *Владимир*, маму особенно волновала эта подпись, но она так и не дождалась следующей встречи, сидя в новой оранжевой кофточке: он переметнулся к ее соседке-подруге-красавице по узкой комнате, Любе, и та, рыжая, стала гордо входить, покачивая боками, после встреч с отцом в общежитие. Отвергнутый Любой поэт Борис Смоленский, посвятивший ей немало стихов, мучился не меньше мамы, но на почве общей отверженности у них не случился роман. Мама ушла с головой в язык и стала интеллигентной девушкой, любившей искусство. Отец играет в студенческом театре. В матросской тельняшке он выскаки-

вает на сцену, палубу корабля, с выпученными глазами кричит: «Полундра!» – и прячется за кулисами. Театр предсказывает его скорое будущее.

Мне ли осуждать приметы XX века? Случись на один выстрел, на одну освенцимскую печь меньше, глядишь, меня бы и не было. Хлопоты по самопожертвованию задним числом не принимаются.

В начале войны отец, в то время уже выпускник, экстерном сдавший экзамены переводческих курсов, готовился в спецотряде к диверсионным актам в тылу врага. В последний раз перед отправкой за линию фронта он неудачно прыгнул с парашютом, сломал ногу, сев на высокую ель, и попал в госпиталь. Хирурги решили ампутировать ему ногу по колено, пугая гангреной. Он отказался от ампутации. Пиши отказ. Отец написал. Он лежал в коридоре, прислушиваясь к горящей ноге. Температура была высокой – он бредил. Шансов – практически никаких. Какой-то молодой врач *случайно* спас его, решив опробовать на его ноге препарат – мазь Вишневского. Два раза в день врач терпеливо втирал мазь в отцовскую ногу. Вишневский материализовался из этой мази через много лет уже в нашем доме: шумный, большой, генеральский – он пьет французский коньяк. Родители по сравнению с ним маленькие люди из русской литературы. На столе много хлебных крошек, оставшихся после ужина. Он провел пальцем по моему позвоночнику – остался недовольным. По знакомству вырезал маме аппендицит и сделал на глазах студентов, по ее словам, виртуозный шов. Вся группа, улетевшая без отца взрывать мосты на Смоленщине, была уничтожена.

– Ну, тебе, парень, считай, повезло, – перетасовал карты хирург, предлагавший отрезать папину ногу.

После госпиталя отца, *случайно* его отыскав, пригласили работать в Народный комиссариат иностранных дел, как тогда назывался МИД, поскольку большинство его сотрудников, брошенных в народное ополчение оборонять Москву в октябре 1941-го, погибли в окружении.

– Будешь теперь ходить по красным коврам и нас забудешь, – сказал ему командир на прощание.

Хорошо сражались немцы на море! Взять хотя бы подвиг, узнав о котором замер мир: подводная лодка У-47 прорвалась на британскую базу Скапа-Флоу (капитан-лейтенант Прин; 14 октября 1939 года) и затопила линкор «Ройал Ок». Гитлер стал грозой океанов. Его борьба против судоходства в Арктике во время блиц-похода на Россию велась под руководством гросс-адмирала Редера, человека набожного, не допускавшего грязи на флоте и в методах морской войны. Как-никак Военно-морской флот Германии обязан Редеру уникальной формулой: «Война без ненависти». Противником моего рождения, наряду с Редером и контр-адмиралом Деницем, немецкими подводными лодками и заполярной авиацией, стал линкор «Тирпиц».

– Мы решили отправить вас за рубеж, в Швецию, – объявил отцу заместитель министра по кадрам Деканозов. – Дипломатии вас обучат на месте. Коллонтай – посол опытный. Вопросы есть?

Ставленника Берии, Деканозова, расстреляют в 1953 году, он об этом еще не знает. Работа в нейтральной Швеции будет, конечно, счастьем. Найдется даже немного личного времени, чтобы увлечься дочкой антифашиствующего физика Нильса Бора, но по закону волшебной сказки, чтобы добраться до счастья, герою нужно подвергнуться смертельным испытаниям.

– А в чем мне ехать? – осмелился отец, стоя перед Деканозовым в военной гимнастерке.

– Поедете за границу, там и переоденетесь.

Так отец стал Одиссеем. Швеция отрезана от союзников. Норвегия и Дания под оккупацией. Финляндия воюет на стороне немцев. Отцу предписали ехать в Куйбышев, оттуда – в Архангельск, далее с морским караваном до Англии и бог весть как до Стокгольма.

Если писать голливудский сценарий, я бы начал с бомбежки. Заявка: это фильм о мужестве американских и английских моряков – «Титаник» отдыхает. Немцы бомбят деревянный Архангельск. Архангельск в огне. Вокруг редкого для города кирпичного здания гостиницы «Интурист», где живет отец, бушует пламя. Союзники не решаются выпускать свой флот в обратное плавание. В Архангельске отец задерживается надолго.

– Товарищ, ты тоже в Швецию? Попутчик? Как зовут? Владимир, пошли есть тушенку!

В холле гостиницы, по щиколотку в золе, два молодых дипкурьера в черных шляпах перебрасываются банкой тушенки, как будто играют в регби.

– Владимир, это и есть ленд-лиз! – Дипкурьеры продолжают кидаться банкой. – Караваны транспортных судов под конвоем военных кораблей доставляют к нам из Англии и США стратегические грузы, оборудование и – опля! лови! – тушенку! Назад плывет наше сырье. Пойдем выпьем! Водка – лучшее лекарство против гари.

– Мы уже третий раз плывем в Швецию. – Первый дипкурьер бросает шляпу на кровать в номере на двоих.

– Ну и как? – спрашивает отец.

– Смерти нет! Война, как и человеческая жизнь, состоит в основном из перечислений.

– Молчи, безымянный! – Второй дипкурьер разливает водку по граненым стаканам. – Чем больше я боюсь смерти, тем дальше она от меня отступает.

– Володя, не слушай его! Немцы сосредоточили на Севере самую крупную группировку военно-морского флота во главе с линкором «Тирпиц».

– Водоизмещение в 52 600 тонн и команда в 2608 человек, – подхватывает второй дипкурьер. – Это – город! Такого корабля ни у кого больше нет!

Отец делает понимающее лицо.

– У нас тут горничная, Володя, – раскатывает нижнюю губу первый, – вылитая Любовь Орлова. Опытный кадр. Ну, почему все актрисы спят с режиссерами?

– Вместе с линкором, – продолжает второй, – в Заполярье находятся крейсера, – загибает пальцы, – «Шарнхорст» (по-моему, его там не было, я проверил по справочнику. – В. Е.), «Адмирал Шеер», «Лютцов», «Кёльн» и «Нюрнберг». Пять!

– После войны «Нюрнберг» будет плавать под нашим флагом. Его переименуют в «Адмирал Макаров»! – хохочет первый.

– Постой! Их сопровождают больше двадцати самых современных эскадренных миноносцев. Задействованы 520 немецких самолетов и значительные силы подводного флота под командованием...

– Контр-адмирала Деница, – вставляет отец. – Чего вы радуетесь?

– Молоток! Гитлер поставил Деницу задачу полностью перекрыть проход к нашим северным портам.

СТАЛИН. Сосо с Истоминой в постели в стыдливой наготе лежал...

Дипкурьеры оглядываются по сторонам.

– Володя, ты что-нибудь слышал?

– Нет.

– И мы тоже ничего не слышали.

– Не взорвемся – так прорвемся! – говорит первый дипкурьер, весело оглядывая опечаленные мешки с диппочтой. – Володя, пьем!

В июле 1942 года советский подводник Лунин успешно атакует «Тирпиц». Линкор уходит на ремонт во фьорды Норвегии, хотя в западной исторической науке считается, что Лунин со своей подлодкой К-21 – рекламный трюк. Во всяком случае, путь для союзных кораблей открыт. К началу сентября сформирован конвой QR-14: несколько советских и английских сухогрузов, танкеров, как малые дети, окружены вниманием военных судов Англии и США. Советских боевых нянек в эскорте нет. Посмотришь на караван – да он непобедим: группа

крейсеров, двадцать эсминцев, корабли ПВО, одиннадцать корветов, траулеры, подводные лодки, минные тральщики!

– Володя, ты куда? Иди к нам на сухогруз! – Дипкурьеры машут отцу банками тушенки с борта советского судна.

– Меня послали к англичанам на минный тральщик.

– Тебя послали слишком далеко! Плыви с нами!

– У меня предписание.

– Сейчас уладим. Наш капитан – парень что надо!

Владимир поднимается на борт тральщика «Лорд Мидлтон» без всякого удовольствия. Английского языка он почти не знает. С кем общаться? Хорошо дипкурьерам – тех посадили к «нашим», а Катю Варенникову, совсем юную беременную женщину, которая плывет к мужу, работающему в Лондоне, на английский сухогруз. Как всегда, русские любят меняться местами, пересаживаться. Перед отплытием будущая мамаша в слезах просит отца взять ее с собой:

– Володя, мне страшно среди чужих.

Никто не заметил, что они успели близко познакомиться, живя в гостинице.

– Хорошо, что Бога нет, – продолжает Катя. – Если придется умереть, не надо будет гореть в аду.

– Почему же в аду?

Катя пожимает плечами. Отец хлопочет за нее, бегаёт, но безуспешно.

– Мои британцы скисли, – говорит он в порту беременной красавице. – Отплытие каравана назначено на тринадцатое число. Кроме того, присутствие женщины на военном корабле, сама знаешь, плохое предзнаменование.

Шотландцы, основной экипаж тральщика, отвергнув женщину, отца встречают дружелюбно. Капитан с коричневыми от курева зубами распоряжается.

КАПИТАН. Выдать ему морскую желтую робу с капюшоном, теплое белье, сапоги и личное оружие – маузер!

Что значит правильная одежда! Впервые в жизни отец выглядит как настоящий мужчина – в желтой робе с маузером ему не страшно.

Не успел конвой QR-14 выйти в Белое море, как его засекает германский воздушный разведчик. И – началось! Конвой выставляет против немцев плотный заградительный огонь. Но немец – опытная сволочь! Курс – Шпицберген. Небо кишит самолетами. Война перемещается вовнутрь головы Владимира, которая подвергается непрерывным атакам крупных отрядов самолетов-торпедоносцев «Хе-177» и пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-88».

За кормой тральщика отец видит вереницу горящих в море костров.

БОГ. Война, как всякая творческая игра, наглядное доказательство моего существования.

В ледяной воде и озерах мазута тонут кричащие дикими голосами люди. Им никто не поможет: каравану дан приказ идти полным ходом вперед на отрыв от противника, не задерживаясь для спасения гибнущих. Немецкая авиация загоняет караван к кромке пакового льда у Новой Земли, но и там достает, хотя, по-хозяйски экономя горючее, не может долго висеть над противником.

Владимир постепенно осваивается жить под бомбами. Его природная любознательность не дремлет. Скажите, капитан!

– До войны «Лорд Мидлтон» был китобойным судном. Киты, по сути, те же немцы, одно слово: млекопитающие. Моя команда – 52 человека. Смотри, что мы имеем: два орудия – на носу и на корме, два крупнокалиберных пулемета на капитанском мостике, ну еще аппарат для сбрасывания глубинных бомб. Хорошая новость: Катя родила.

– Да ну?

– Сегодня утром. В Исландии выпьем шампанского. Немецкие самолеты специально не охотятся за нами, хотя приходится без конца маневрировать. Поверь, как пройдем за Шпицберген в Атлантику, будет полегче.

Владимир вынужден признать, что поговорка «как в воду глядел» в этом случае не подходит. Проход между Шпицбергенем и Норвегией оказался самым опасным. Авиация не унималась. Она бы наверняка уничтожила весь караван, но начались арктические туманы. Караван накрылся саваном. Немецкие самолеты еще не имели радаров. Основные немецкие корабли не вышли в море. Гитлер решил не подвергать свой флот риску.

Однако в районе острова Медвежий немецкой авиации удастся потопить сразу несколько судов. Сгорели живьем оба веселых картежника-дипкурьера. Они не захотели оставить на горящем сухогрузе мешки с давно просроченной почтой. В тот же день утонула Катя Варенникова вместе с дочерью, которую английские моряки по случаю рождения на море нарекли Мариной.

В Атлантике караван встречают субмарины со свастикой. Они нагло подходят к каравану в надводном состоянии, затем погружаются и начинают его прошивать торпедами с разных сторон. Сильной взрывной волной отца, стоящего, как всегда, на капитанском мостике, отбрасывает на перила. Папа, не утони! В непосредственной близости от тральщика поражен новенький, только что спущенный на воду красавец – английский эсминец «Сомали». Торпеда попала в машинное отделение.

Эсминец накрылся, но не затонул. Двум другим эсминцам и отцовскому тральщику как вспомогательному судну дан приказ обеспечить транспортировку поврежденного корабля до Исландии. На борт «Сомали» возвращается со спасательных шлюпок команда. Остальной караван продолжает свой путь. Через несколько суток, ночью во время шторма, «Сомали» разламывается пополам. Он стремительно идет ко дну со всей командой. Моряки закидывают в океан огромные сети. Улов: пятнадцать почерневших от холода людей (из шестисот) и много рыбы. Ром – в глотки, растирание спиртом, грелки с кипятком. Двое выжили. Освободившись от задания, эсминцы рванули вперед догонять караван. Тральщик остается один в океане.

Тишина. Солнце. Плакучие полярные ночи (уже не их сезон, но оставим для красоты). Погода благоприятствует плаванию. Порой отцу кажется, что он, взрослый молодой человек, на морской прогулке во время отпуска. В голубых далях рождаются привидения любви. Свадебные перины облаков. Жаль только, что рядом нет, кого хочет обнять мой отец. Наутро он видит странные дымы, появившиеся у горизонта за кормой. Сигнал боевой тревоги: надводные корабли противника.

– Полный вперед! – кричит в рупор морской волк.

Однако соревноваться в скорости с тремя неизвестными эсминцами ему не под силу. Идущий впереди дает в воздух залп из бортовых орудий, требуя остановки тральщика.

– Fuck you!! – хрипит капитан, подмигивая отцу. – Развернуться, приготовиться к бою! – орет он в рупор.

Тральщик оцетинивается всем своим хилым вооружением. Отец сжимает в кармане рукоятку маузера. Но он забыл, куда дел патроны. Бежит в каюту, находит их под подушкой, пульей назад, на капитанский мостик. (У меня наследственное неумение обращаться с техникой, хотя я в детстве поражал всех меткой стрельбой в тире.) Наступает томительная пауза. Отец знает, что немцам живым он не дастся. Эсминцы, с шумом разрезая воду, приближаются, вырастая до неба над тральщиком. Отец запрокидывает голову. И вдруг крики:

– Янки! Янки!

Эсминцы подходят вплотную. Сгрудившиеся на борту матросы из Оклахомы, Миннесоты, Миссисипи и Алабамы, белые и черные, свои, до слез родные янки, сбрасывают на палубу тральщика мешки с гербовыми орлами. Консервы, банки с пивом – все то, чего отец с шот-

ландцами лишены так давно. На тральщике пир горой. Все чувствуют себя героями, ходят пьяными, кричат отцу:

– Сталинград! Сталинград!

СТАЛИН. Не рановато ли?

Вечером отец, страшно смущаясь, учит команду другим, не менее крепким словам русского языка.

Советский Одиссей вступает на берег своей первой заграничной. Ногами он крутит глобус. Приятно почувствовать твердую почву, спокойно пройти по улицам Рейкьявика. В Исландии нет затемнения: ярко окрашенные дома освещены по вечерам электрическим светом. Владимир любит девушек, которые слывут самыми красивыми в Северной Европе.

Исландия всегда привлекала русских своей заповедностью. В ней не случайно побывал самый демонический герой Достоевского, красавец Ставрогин, который, впрочем, ничего не рассказал о ней, поскольку воображаемая страна не нуждается в туристических впечатлениях.

Странным совпадением, если не сказать провокаторской иронией судьбы, стало то, что я побывал в Исландии в том же самом возрасте, что и мой отец, в двадцать два года, хотя, в отличие от него, я никогда не доехал до нее. Моя Исландия жила на шестом этаже. На проспекте Мира, возле Рижского вокзала, в дипломатическом доме, двор которого охранял советский милиционер. Мне приходилось собрать всю свою несоветскость и нерусскость, чтобы независимо войти во двор в расстегнутой рыжей дубленке с девственно-белым мехом подкладки, не вызывая подозрения. Это была проверка не только на мою заграничность, но и на мою дерзость, за которую я мог серьезно поплатиться по тем временам. Более того, это был мой первый диссидентский прорыв за орбиту советского мира, переживание столь сильное и бесконечное, что оно меня окончательно выбило из русской литературной колеи. Еще лишь собираясь писать, бесконечно сомневаясь в себе, в себя не веря, а только что-то упрямо предчувствуя, я пережил свою Исландию как вход в роман, как превращение моей жизни в божественный текст.

Когда впоследствии я не раз портил этот текст, я возвращался мыслью к Исландии как к его истоку, замыслу, недостижимому образцу. Исландия стала страной моего грехопадения, моей совершенно незаконной, запретной любви. Моя Исландия была на пару лет старше меня, работала дипломатом в самом крохотном посольстве натовских стран, в тишайшем переулке возле улицы Воровского, а я был еще пятикурсником, только что счастливо женившимся, молодоженом в ожидании юной супруги, застрявшей в своей восточноевропейской стране по причинам визовой проволоочки. И тут 7 ноября компания подвыпивших друзей, возвращавшихся возле кино, приводит Исландию в квартиру моих отсутствующих родителей, и мы стоим с Исландией на зыбком балкончике родительской спальни, выходящей во двор, и смотрим советский салют, и она смотрит его с такой радостью, с таким неподдельным счастьем, что я понимаю: это салют счастья в нашу честь. И, как это бывает только в молодые годы, все постепенно куда-то ритмично проваливаются, расходятся, растворяются в воздухе, как будто было заранее предопределено, что не будет никаких задержек и проволоочек, и мы остаемся вдвоем, влюбленные по уши, связанные всем и навсегда, почти немые из-за недостатка английских слов. Если есть матрица земной любви, если есть матрица земного блаженства, то в тот праздник революции она материализовалась на ковре родительской гостиной. Мы потеряли голову. Любовь требует простых китчевых слов, не нуждается в замятинском орнаментализме, склоняясь к мещанскому романсу. Ее описание – пародия на литературу, если она действительно любовь. Мы так и стали жить немymi, не доверяясь английским словам, в ее квартире на проспекте Мира, в полной незаконности нашей любви, в немой сказке, на периферии которой гудели враждебные силы. Ее замедленные движения, когда она наливает чай, ее неземной поворот головы, когда она оглядывается на меня на бульваре, автобиографический роман Горького на исландском языке в ее тонких аристократических руках, ее синий диван, на котором я ставил нечеловече-

ские рекорды страсти, чтобы никогда их больше не повторить и чтобы, что, может быть, самое важное, больше никому никогда не завидовать. И эти слова «эльска мин», которые остались во мне навсегда, и эти ее открытые белые ноги – какой там к черту Ставрогин, какие там к черту военные страсти отца!

Я спускаюсь в метро на станции «Рижская», мне двадцать два года, уже поздно, мне надо домой, я смотрю на призраки поздних пассажиров на эскалаторе – я знаю, что никто никогда не будет так счастлив, как я. Она рассказывает мне, что в Исландии есть народные песни, но нет народных танцев. Везде есть, а в Исландии нет, точно так же, как нет фамилий. Одни только отчества, отлившиеся в жизнь. Нам не надо было утверждаться в горячих гейзерах – хватало спермы. У нее шрам на пальце, и у меня – на левом указательном. Это когда я редиску чистил в седьмом классе длинным ножом с деревянной ручкой. На кухне. Кровь. Шрамы на пальцах. Мы – меченые. Но у нее, она говорит, эта фаланга пальца вообще была отрезана – напроочь, а потом она быстро приставила – и срослось. Как срослось? Такого не может быть. Не может быть ни твоего пальца, ни тебя самой, этого не бывает.

Я смотрю на ее неземной поворот головы, ее черной красивой головки, на ее чуть влажные от волнения глаза – это московский зимний бульвар, – нам надо принимать решение – она беременна от меня, – я просто не верю своему счастью.

– Ауста! – думаю я... – Капитанская дочь! Как ты прожила жизнь? Где ты? С кем ты? Сколько у тебя детей? Наверное, уже пошли внуки. Как твои две сестры? С ними что? И что стало с нами?

В Исландии, приведя себя в порядок, «Лорд Мидлтон» берет курс на Британские острова. И снова над отцом нависла – ну сколько можно! – смертельная опасность. Поздним вечером, когда команда уже готовится ко сну, сигнал тревоги:

– Подводная лодка противника!

Отец вскакивает с койки, быстро лезет по металлической лестнице на палубу. Как опытный моряк, он прислушивается к ритму волн, перекачивающихся через нее. Уловив момент, он толкает тяжелую дверь. До трапа на капитанский мостик – метров шесть. Он уже пробежал большую часть пути, когда слышит окрик капитана. Тот в рупор материт отца: Владимир не захлопнул дверь трюма. Оттуда ярким прожектором бьет свет на всю округу – отличная мишень для немцев!

Отец разворачивается на бегу. Тяжелая волна обрушивается на него, сбивает с ног, но ему удается уцепиться за рукоятку двери, он висит – болтается, как паяц, – очередная волна пинком посылает его вовнутрь. Мокрый до последней нитки, стуча зубами от холода и нервного шока, он все же повторяет свою попытку. На этот раз удается добежать до лестницы на капитанский мостик. На кривой поверхности океана он видит мерцающий зеленоватый свет. Тральщик осторожно приближается к нему. Шотландцы держат неопознанный предмет под прицелом своего оружия. Сейчас начнется морская дуэль. Отец стиснул зубы. Он не умеет молиться.

Каково же его удивление, когда, приблизившись к загадке огня, матросы обнаруживают дрейфующее бревно, которое фосфоресцирует малахитовым светом! Бревно разлетелось в щепки, когда по нему ударил пулемет. Долго смеялась команда над вахтенным, который поднял тревогу из-за бревна, блуждающего в ночи по океану.

Драили палубу, до блеска терли металлические поручни. И вот приплыли. Власти Эдинбурга, считавшие «Лорда Мидлтона» погибшим, устроили команде парадный прием. Военный оркестр, раздувая мехи вольнок, исполнял на ветру бравурные марши. Почетный караул из рослых шотландцев в клетчатых юбках и цветастых гольфах выстроился перед ратушей. В ее здании моряков ждал званый обед: ели потроха по-шотландски. Это что-то такое серо-коричневое. «Похоже на дерьмо», – смекнул отец, накладывая «хаггис» со своей первой дипломати-

ческой улыбкой на тарелку. А когда попробовал, сказал себе без всякой дипломатии: «Лучше бы это было дерьмо!» У Владимира разболелся живот. Впервые отец предстал перед многочисленной иностранной аудиторией. В потертой гимнастерке он выглядел странно. Никто не придавал этому никакого значения. Весь Эдинбург глазел на живого советского человека, прибывшего из воюющей России.

– Куда ты едешь? Нам скоро снова в море. Давай с нами?

В старомодном купе спального вагона Владимир уезжал. Капитан и семь моряков провожали его на вокзале. Из горла выпили много виски. Отец расцеловался с командой, долго махал из окна рукой. Пошли-поехали пастелевые от виски лесистые горы. Полдня простоял в коридоре перед окном – это стало его железнодорожной привычкой. Поздно вечером он прибыл в Лондон.

Синие лампы тускло освещали перрон. Его никто не встречал. Владимир взял черный кеб. Поднявшись на крыльцо дома № 13 по улице Кенсингтон Пелас Гарден, он нажал на кнопку звонка. Приоткрылась старинная тяжелая дверь. Отец назвал себя. Его впустили. Молодой дипломат, дежуривший в ту ночь, обрадовался неожиданному собеседнику. Они стали пить чай.

– Вы верите в чертову дюжину?

– А в чем, собственно, дело?

– Здание под посольство купили по сходной цене из-за номера. Соседние особняки либо разрушены, либо серьезно пострадали от бомбежки, а посольство ничего, хоть бы хны.

– А что, сильно бомбят?

Вошел, зевая, другой сотрудник:

– Кошку не видели?

– Какую кошку?

– Кошка пропала.

Потерявший кошку отвез отца в близлежащую гостиницу.

– Фашисты! Привык я к кошке. Жена осталась в Москве.

– Найдется, – сказал отец.

Он был всегда оптимистом. Ощувив приятное тепло от большой грелки, подложенной в ноги под простыню, он моментально заснул. Спать в те времена отец умел в любом месте, в любом положении. У него был такой здоровый сон, что даже пистолетный выстрел возле уха не смог бы его разбудить. Однако Владимир проснулся глубокой ночью. Кромешная тьма. Одеядло лежало на нем, словно мешок с песком. Отец подумал: упал потолок. Сияясь подняться, он услышал, как на пол со звоном посыпались осколки стекла. По комнате гулял ветер. От рам и ставней не осталось и следа. Тяжелый фугас, очевидно, упал неподалеку. Решив, что утро вечера мудренее, отец снова заснул.

Хорошо сражались немецкие летчики! Гитлер – гроза небес. Его авиация была полным хозяином в небе над Лондоном. Утром промозглый воздух был горьковат от дыма, как в Архангельске, но на утомленных лицах жителей Лондона отец не заметил отчаяния. Народ выглядел собранным, сосредоточенным. Работали кинотеатры. В большом универсальном магазине, куда посольские товарищи отвели отца на следующий день, проворные продавцы меньше чем за полчаса одели отца в штатское, аккуратно завернув в пакет советскую гимнастерку. Хотя на улице никто не обращал на него внимания, отец стесненно чувствовал себя в узких брюках и шляпе, которая впервые красовалась на его голове.

– Ты не с Катей Варенниковой плыл? – неожиданно спросили товарищи из посольства.

– Она утонула, – сказал отец. – Вместе с дочкой.

Товарищи захохотали.

– Вы чего?

– Знаешь, кем она была?

– Кем?

Раздался новый приступ хохота. Владимир не стал больше спрашивать.

– У меня кошка нашлась, – сказал знакомый сотрудник посольства.

– Ну, вот видите, – улыбнулся отец.

Он умел быстро сходиться с людьми, но он ни разу в жизни не хохотал. До Швеции было не ближе, чем до победы. Отца взялись перебросить туда американцы. Они допили кофе и вышли на летное поле.

– Ну что, let's go, – сказали военные летчики, угощая отца «Честерфилдом».

На вечернем поле стояло три тяжелых бомбардировщика.

– Отличные машины! – сказал отец. – Чего не откроете Второй фронт?

Американцы заулыбались.

– Спроси у Черчилля! – Большой негр с ленивой презрительностью высунул розовый язык. – Он немцев боится.

Они всегда гордились своей техникой. Технология – душа Запада. Лететь в Швецию надо было через Норвегию, оккупированную немцами.

– Говна пирог! – заверили отца американцы. – Ее узкую полосу мы пересекаем ночью, в планирующем полете с выключенными моторами.

– Это быстро и нестрашно, – подмигнул негр, – как вырвать зуб.

Ночью над Норвегией немцы обнаружили американских бомбардировщиков, погнались за ними – сбили один, с большим негром, уже в шведском воздушном пространстве, что было нечестно во всех отношениях. Один из трех – покруче русской рулетки. Благополучно проспав воздушный бой, мой папа, простодушный Одиссей, приземлился в районе Стокгольма в начале ноября 1942 года, накануне 25-й годовщины Октябрьской революции, проведя в пути в общей сложности около двух месяцев.

Писатель – антипод дипломата. Я начинаю ловить себя на мысли, что, подсматривая за продвижением молодого человека к тому моменту, когда он станет моим отцом, я невольно впадаю в полуиронический тон и пытаюсь внутренне себе это объяснить. Возможно, я разлюбил дипломатию, которая, в лучшем случае, не что иное, как блестящее подчинение личности интересам своего государства. Возможно, исторический опыт, накопленный к сегодняшнему дню, превращает поведение моего отца в череду по меньшей мере простодушных («простодушный Одиссей») поступков, и я не могу на это не реагировать с некоторым высокомерием. Но скорее всего, речь все-таки идет о несовместимости ролей отца и сына.

Дети, какими бы они ни были, превращают нашу жизнь в ловушку. Идущая по улице красивая старшеклассница (сегодня я видел это возле дома на Плющихе), пахнущая правильной туалетной водой, вдруг начинает бежать от молодого очкастого человека, со смехом поворачивается к нему и говорит влюбленно:

– Я тебя боюсь.

С точки зрения ее родителей, эта влюбленность – предательство. А она сама юная блядь. Недаром в традиционных обществах родители выбирали своим детям женихов и невест: мы – собственники детей, потому что мы их родили, это – товар, который только мы можем продать, а они с этим никогда не согласятся.

Дети изменяют нам всем своим поведением: модой, танцами, нравами, языком, который служит издевательством над нашим. Мы рождаем детей для продолжения себя в любви – дети орут, мешают спать, срут в памперсы, болеют. Мы выходим встречать их ночью у метро, чтобы их не обидели, а они нас стесняются. Когда я шел на выпускной вечер в школу по улице Горького в сторону Пушкинской площади, мне было стыдно, что мама (еще молодая, красиво одетая) идет вместе со мной. На уровне Музея революции, который когда-то был Музеем подарков Сталину, я даже попытался отделиться (отделаться) от нее, идти независимо, а она ничего

не понимала, что происходит со мной, бормотала: «Ты зачем так спешишь?», думая, наверное, что я волнуюсь.

Мы для детей – буфер против смерти. Они для нас – не только продолжение рода, но и обещание нашей личной вечности, может быть, не столь внятной, как религиозная вечность, но все-таки вечности. Если смерть считать высшим критерием достоверности, то мы находимся явно не в равном положении. Смерть ребенка убивает родителей, это покушение на их бессмертие. Смерть родителей – всего лишь частная трагедия человека.

Родители важнее литературы. Описывая их, стиль писателя начинает вибрировать. Писатель напрасно старается загнать впечатление в образ. Но дети нередко важнее жизни. Когда, возвращаясь с прогулки по Красноармейскому скверу, я переходил дорогу с модной джинсовой коляской, где спал мой маленький сын Олег, я понимал, что, если возникнет положение: или он – или я, я пожертвую собой, попав под машину. Самопожертвование открывалось без скрипа, как дверь. В нем не было даже никакого великодушия.

Мы, однако, лукавим перед судьбой. Мы выбираем наших детей по части нашей близости к ним, а случайных, побочных детей мы часто отшвыриваем навсегда – они для нашей вечности непригодны.

Зимним утром, возвращаясь в Москву с дачи, где я пишу эту книгу, я вижу толпы почти невидимых в утреннем мраке людей, стоящих на автобусных остановках в Павловской слободе, невыспавшихся, охреневших, – они едут в город работать на своих детей. Мне кажется, что все они работают на химических заводах. Улыбка родителей на выходе из родильного дома – оплошность, за которую надо платить. Дети не замечают наших усилий – с этой очевидностью нам предлагается жить. Вспышка любви за столом в день нашего рождения напоминает электрическую молнию перегоревшей лампы. Родительские ласки – «сыночек!» – тупиковы, их эротизм безысходен. Идет великая объебаловка, в которой мы играем пассивную роль продолжения рода, давным-давно переставшего себя осознавать. Ненужность – окончательная формула родительской старческой оставленности. Наследством мы не откупимся, даже если оно и случилось. Стулья, выброшенные на помойку, – это все, что останется после нас.

Дети бесчеловечны. Мы охвачены пожизненным страхом за них и нелепой гордостью, которая прорывается в наших о них рассказах, со стороны всегда выглядящих смехотворно. Неприятно, если дети растут тупыми, некрасивыми, но слишком умные и успешные дети вгоняют нас в комплексы и станут судьями наших неудач. Родители скрывают недостатки своих детей; дети легко провоцируются на разговор о недостатках своих родителей. Есть, конечно, случаи преклонения. Набоков боготворил своего отца и отчасти поэтому ненавидел Фрейда. Но его идеальный отец – головная конструкция, удобная для литературы, но не для жизни. Мы драматизируем каждую мелочь, случающуюся с детьми; они банализируют наши драмы, если вообще их замечают. Родители уже сделали самое важное дело своей жизни – они нас родили. Все остальное несущественно.

– Моим учителем дипломатии была Александра Михайловна Коллонтай, – с законной гордостью много раз говорил мне отец.

В 1942 году Швеция сохраняла нейтралитет. Широко велась геббельсовская пропаганда. На центральной улице Кунгсгатан висела большая зеркальная витрина германского информбюро, в ней выставлялись фотоматериалы с Восточного фронта, прославлявшие великие победы арийского солдата. Немцы побеждали с улыбками. Витрину часто били норвежские студенты. Немцам приходилось вставлять новое стекло, которое снова били. Фашисты в ответ били на Вокзальной площади витрину Советского информбюро, на которой зубасто смеялись Василии Теркины (смех сильнее улыбок), но витрина была из обычного оконного стекла, восстанавливать ее было проще.

Странное дело – дипломатия. Продолжение войны мирными средствами? Как блестяще Коллонтай вела переговоры о выходе Финляндии из войны! Зная о тесных связях Маркуса Валленберга с финским президентом Рюти, она аккуратно, но настойчиво внушала ему мысль о необходимости оказать влияние на финнов с тем, чтобы они незамедлительно прекратили войну с Советским Союзом. Валленберг внял ей, выехал в Хельсинки – Александра Михайловна шлет в Москву телеграмму с рекомендацией усилить в те дни бомбардировку финской столицы.

– Она была мастером использовать свои личные связи в государственных интересах СССР, – подчеркнул отец в семейном разговоре со мной.

– Шведы, – объясняла Коллонтай работникам посольства, сгрудившимся вокруг ее инвалидного кресла, – за исключением чисто фашистских групп, не питают симпатий... вы чем там занимаетесь, Петров?

– Ничем.

– Вот именно... Так вот, Петров, знайте, что шведы не питают симпатий к гитлеровскому режиму и не желают испытывать его на себе.

Отец многократно присутствовал при том, как Александра Михайловна у себя в комнате отчитывала шведских министров за отступления от нейтралитета.

– Ну что же вы, друзья!

– Извините нас, товарищ! – краснел кабинет министров.

От восторга, который он испытывал к Коллонтай, папа как-то рассказал мне, что она вернула в самый разгар войны статую Карла Двенадцатого, указующего пальцем на Россию как на врага, в сторону немцев. История не подтвердилась, запав мне в душу. Посольство опиралось на сильные антивоенные настроения шведского народа. Почти всю войну Владимир проработал помощником посла. Первое время по приезду он жил в гостинице. Ночью его разбудило явление: в его номере появилась девушка, на голове – корона с горящими свечами. Отец протер глаза: сон? провокация? долгое воздержание? Девушка подошла к постели, с улыбкой протянула поднос с чашкой кофе и печеньем. Отец приподнялся на подушке, выпил кофе, с хрустом откусил печенье. Продолжая улыбаться, девушка удалилась, прикрыв дверь. На стенах посольского зала, где давались обеды и проводились приемы, висели большие тарелки, подаренные Коллонтай рабочими Ленинградского фарфорового завода с надписями: «Кто не работает, тот не ест!», «Царству рабочих и крестьян не будет конца!».

Я. А тебе не приходилось драться с фашистскими дипломатами на официальных приемах в Швеции? Бить по их вражеским мордам, запускать в них сладким тортом? Или ты здоровался с ними за руку?

ОТЕЦ. Советские дипломаты нацепляли на лацкан пиджака красную звездочку, а немецкие – свастики. Завидев друг друга, мы отворачивались.

Я. Как в детском саду.

ОТЕЦ. Это тоже часть войны. Ты знаешь ресторан «Арагви» в Москве?

Я. Ну.

ОТЕЦ. В этом ресторане в самые кризисные дни октября 1941 года шли переговоры между представителями советского правительства и болгарским посольством, которое представляло интересы Германии в СССР. По сути дела, готовился второй Брестский мир. Мы готовы были отдать немцам Белоруссию и Украину в обмен на заключение мира. Но Гитлер, опьяненный успехами, хотел больше – Россию по Волгу, включая Москву. Переговоры затягивались. Гитлер берег своих солдат. Он не хотел штурмовать Москву. Собственно, поэтому он не штурмовал и Ленинград... Но пока шли переговоры в «Арагви», подтянулись наши дополнительные войска.

Я. Откуда ты знаешь об «Арагви»?

ОТЕЦ. Мне рассказывали в конце войны коллеги по секретариату Молотова...

Я. Это – уникальная информация. Расскажи подробнее.

ОТЕЦ. Зачем?

У меня был тоже свой ресторан «Арагви». После разгрома «Метрополя» в Москве прошла Международная книжная ярмарка, и американские издатели, рослые, крепкие мужчины, устроили в «Арагви» роскошный прием для диссидентских авторов (Сахаров, Марченко и др.). Менты оцепили площадь. Они стояли плечо к плечу, отгоняя прохожих на улице Горького. Когда я подошел к кордону, меня спросил деловито молодцеватый майор милиции:

– Вы кто?

– Я на прием.

– Диссидент?

– Ну да.

– Тогда проходите.

Пожалуй, это был единственный раз, когда диссидент мог куда-то пройти.

Коллонтай привлекла отца к ночной работе над своими мемуарами. В разгар войны, в расцвете сталинизма, она писала их по-французски для мексиканского издательства. У нее в комнате стоял кованый сундук. Своими длинными старыми пальцами подогнав к нему кресло-каталку, она поднимала с помощью отца тяжелую крышку; на обратной стороне были этикетки с царскими гербами. Запускала руку на глубину нужного археологического слоя – извлекала письма Ленина, Мартова, Розы Люксембург. Рассматривая фотографии Плеханова с именными посвящениями, она призналась:

– Близость к нему долгое время удерживала меня от перехода к большевикам.

Коллонтай стала членом первого правительства Ленина, но выступила против Брестского мира и со своим другом Шляпниковым создала либеральную Рабочую оппозицию, после разгрома которой ушла из правительства. Иногда Александра Михайловна, откинувшись на спинку кресла-качалки, доверительно рассказывала отцу о себе. Она говорила, что прожила несколько разных жизней, связанных между собой основной чертой ее характера – мятежностью.

КОЛЛОНТАЙ. Я была барышней петербургского общества, и мое дворянское происхождение помогает мне в Швеции. Консервативные шведы, помешанные на аристократизме, прощают мне мой большевизм и то, что я посланник СССР, из-за моего благородного прошлого.

Когда-то давным-давно, в сентябре 1914 года, министр внутренних дел Швеции распорядился арестовать Коллонтай за пропаганду революции. Король Густав Пятый подписал указ о высылке ее из страны навечно. С лукавым блеском в больших голубых глазах, поднимая густые брови и трясая челкой, Коллонтай поведала отцу, как Густав Пятый чувствовал себя неловко, когда в 1930-м ему пришлось принимать у нее, полномочного представителя СССР в Швеции, верительные грамоты. Свой старый указ король тайком аннулировал. Иван Петрович продолжал работать на железной дороге. Родители отца провели в Ленинграде всю блокаду. Ежедневно с Загородного проспекта он плелся на Октябрьский вокзал, сменив ставшие слишком широкими брюки на комсомольские брюки сына. В скором поезде, уносящем отца на юг Швеции, он познакомился с белокурой девушкой. Перед выходом на вокзал она надела эсэсовскую форму. Раздался страшный артиллерийский взрыв. В открытое окно к бабушке залетела оторванная голова соседки. Бабушка не знала, что делать в таких случаях. Отдать ли голову соседкиному мужу? Вызвать милицию? Вынести во двор?

– Как же это вас угораздило, Нина Васильевна?

С соседкой бабушка была в дружеских отношениях: как раз заканчивала переделывать ей платье. Та обещала заплатить за работу. Заниматься коммунистическим сексом – все равно что выпить стакан воды? Принципиальная противница брачных отношений, Коллонтай считала, что семья воспитывает и утверждает эгоизм, который затрудняет строительство коммунизма. Однако она вышла замуж за Дыбенко.

КОЛЛОНТАЙ. Я была старше Павла на 17 лет, но это меня не смущало. Мы молоды, пока нас любят. Но меня стало тяготить быть женой комдива, а его – мужем полпреда. Да и любовь прошла.

Коллонтай была не только большевиком, но и сексуальной революционеркой – легендой Серебряного века, любительницей шоколадных конфет, бисексуальной защитницей свободной любви «трудовых пчел». Ленина трясло от теории Коллонтай. Мой отец тоже не стал ее явным прозелитом. В Кровавое воскресенье 1905 года Коллонтай шла к Зимнему дворцу, раздались выстрелы, она побежала – через много лет мой отец нашел ее уже парализованной в кресле-каталке. Коллонтай давно не выпивала свой «стакан» и сублимировалась в большого политика. Когда Иван Петрович вернулся, супруги долго советовались. Соседи почти все погибли от голода. Бабушка шила – это спасало от голода. Трупы нужно было возить на санках к Медицинскому институту Бориса Эрисмана. Шорох волос на головах мертвецов от ветра и изморози въедался в голову. Вошел Петров. Петров, помощник резидента по наблюдению за коллективом советской колонии, сказал отцу.

– Ты что, не видишь, она не наш человек, окружила себя подозрительными людьми, горничная – шведка, водитель – тоже швед.

Отец отказался сотрудничать с Петровым.

– Пожалеешь, но будет поздно, – сказал Петров.

Он еще не раз нажимал на отца.

– Я доложу об этом Коллонтай, – сказал отец.

Петров обругал отца последними словами. Позже Петров работал в Австралии и сбежал с кассой посольства. Некоторые из молодых одиноких мужчин не выдерживали длительного пребывания за границей. Аркадий, приятель отца, после многочисленных просьб прислать ему замену послал в Москву анонимный донос на себя. Там было подробно описано, как он пьянствует, как встречается по ночам в парках с проститутками (с указанием напитков, названий баров и парков, имен проституток). Его отозвали сразу. Вдруг в начале августа 1944 года приходит телеграмма: откомандировать отца в Москву. Коллонтай очень обеспокоилась. Ответила Москве отказом. Она уже привыкла к отцу. Больше того, она к нему привязалась. Мужчины не понимают, что женщина-инвалид – все равно женщина. Шведскими ночами, в перерыве дневной игры с финнами за выход из войны, они разговаривали по-французски.

– А как по-французски «связь»?

– La liaison.

– Как-как?

Мой папа – дурак. Москва шлет вторичную телеграмму. Коллонтай опять – нет. Тогда из Москвы приходит телеграмма за подписью Молотова. Тут Коллонтай развела руками:

– Ничего не понимаю, но вам придется ехать.

Чернобровый советник Илья Чернышев – в чьей просторной московской квартире поселились мои родители после того, как он много лет позже утонул советским послом в Бразилии, а у его помощника, который бросился его спасать, акула откусила голову, и хотя мать помощника не знала в Москве о несчастье, ей приснился сон: сидит сын, ловит рыбу – без головы, – советник Чернышев полушутя-полусерьезно спросил отца:

– Ты что такое совершил, раз тебя так безапелляционно отзывают?

Отец молчал. Он не знал, что сказать.

– Думал ли ты, что тебя арестуют, когда приедешь в Москву?

– За что?

– Ни за что. Почему ты так долго ехал назад?

– Война, – усмехнулся отец.

Перед отцом развернулось освобождение Европы во всей своей красе. Он продолжал играть роль советского Кандида. Из Швеции он улетел в конце августа 1944 года на английском военно-транспортном самолете «Дуглас». Благополучно пролетев над Норвегией, самолет пересек Северное море, но на подлете к Шотландии – опять двадцать пять! – его обстрелял немецкий истребитель. Загорелось правое крыло. Пилот пытался, маневрируя, сбить пламя, но безуспешно. В кабину проник дым. Над головами пассажиров по всему потолку свисал резиновый резервуар с горючим. Вдоль побережья Шотландии было много военных аэродромов, и пилот пошел на посадку. Как только самолет приземлился, отец вместе с другими пассажирами выскочил из него и со всех ног бросился бежать, чтобы спрятаться за стоящий неподалеку ангар.

Я вижу, как бежит мой отец, придерживая шляпу на голове, и вдруг осознаю, что он не боится за свою жизнь: у него – охранная грамота, состоящая из почти мальчишечьего легкомыслия, азарта и равнодушия к опасности. Чемодан тоже уцелел: к горящему самолету сразу подъехали пожарные. Песком и пеной они затушили пламя, и папины шведские костюмы жили в спасенном темно-коричневом шведском чемодане с солидными серебристыми застежками бесконечной бесцельной жизнью с нафталином в квартире у бабушки вплоть до ее смерти. Кожа Анастасии Никандровны оставалась девичьей, сознание – незамутненным до самого конца, несмотря на фатальную болезнь: воспаление спинного мозга. Она сковала ее параличом по пояс и уже подобралась к легким, но бабушка выиграла свою Сталинградскую битву, отшвырнув от себя эту напасть, и в течение пятнадцати лет она (с жалобой на постоянное жжение в ногах) стала живым экспонатом чуда для будущих медиков.

– И за бабушку! – тянула она свой предсмертный бокал с вином за семейным столом на улице Горького, когда мы все за что-то пили, а она хотела – чтобы за нее.

Странно, что у меня недостает времени гордиться своей бабушкой. Она умерла в девяносто шесть лет в реанимации Кунцевской больницы. На немой панихиде в местном ритуальном зале семья ждала решения отца. Эстетика *avant tout*⁵. Он вышел в соседнюю комнату, заглянул в гроб – бабушка выглядела красавицей. Он кивнул: выносите к семье. Мы стали прощаться, с четным набором цветов. На Ваганьковском кладбище мама, никогда не звонившая ей домой (что было на руку папе, когда он часами засиживался «у бабушки»), перекрестила старушку, прощая ее навсегда.

В Лондоне отца ждало новое испытание: баллистические ракеты Фау-2. Они подлетали к городу на большой высоте со сверхзвуковой скоростью и падали так, что сначала слышался звук колоссального взрыва и только за ним – сверлящий воздух свист. Немцы не докладывали англичанам о новом оружии, и поначалу никто не мог понять, что падает на голову. Все жили под угрозой непонятной и неожиданной гибели. По договоренности с американцами отец отправился на военно-воздушную базу США в Южном Уэльсе. Отсюда его должны были отправить в Касабланку, потом в Каир, оттуда в Москву. Бравые американские летчики летали навеселе. Второй фронт был открыт, несмотря на тормоз Черчилля. Все самое плохое, казалось, уже было позади. Ранним осенним утром отца посадили в тяжелый бомбардировщик, знакомый ему по перелету в Швецию. Пристроившись в металлическом кресле, отец, прикрывшись пледом, задремал: лететь до Марокко было не меньше шести часов. Он спит – вдруг чувствует: самолет садится. Отец добрался до штурмана с вопросом, что происходит.

– Получен приказ садиться во Франции.

Отец посмотрел в иллюминатор. Всюду видны следы яростных боев. Под крылом самолета лежал большой сожженный нормандский город Кан. Американское командование во Франции удивилось, увидев моего советского отца. Вместо дальнейшего полета ему предложили ехать с офицерами на джипе через всю Францию до Тулона. Владимир поехал, подпры-

⁵ Прежде всего (*фр.*).

гивая на армейских рессорах. Что такое везение? Реализованная невозможность. Счет был открыт. Очки нарастали. Франция была прекрасна даже в своем разоблаченном коллаборационизме. Вдоль дорог стояли чуть тронутые желтизной платаны. На перекрестках торчали пальмы. В Тулоне открылось Средиземное море. Оно лежало золотое, не то что шведская сельдочная Балтика. Дома – желтые, с южными ставнями, кафе – шумные. Все гуляли и веселились на улицах. Французские партизаны, обмотанные пулеметными лентами, обвешанные гранатами и автоматическим оружием, обнимали курчавых, похожих на итальянок девушек. Курчавые девушки изгибались под поцелуями. Отец тут же пошел в кино. Показывали хронику, захваченную у немцев. В зале было душно, курили, галдели. На экран вышел Гитлер и поднял руку – экран прорешетила автоматная очередь. Зрители одобрительно загудели.

Из Тулона американцы перебросили отца в Рим. Вместо возвращения в Москву у отца начались итальянские каникулы. В Риме он не нашел советскую военную миссию, уехавшую на север Италии, и американцы увезли его в Неаполь, сдали на английскую базу. Англичане отнесли к Владимиру с подозрением, но разрешили в ожидании попутного самолета жить в брезентовой палатке прямо на аэродроме. Беда, однако, была в том, что англичане отца не кормили, а денег у него осталось на пять коробков спичек. В невеселом расположении духа отец побрел по дороге на Везувий и заблудился. Навстречу шел молодой итальянец. Узнав, что отец – русский, он восторженно пригласил его в свою коммунистическую ячейку. Владимир деликатно отказался, но на следующий день веселая ватага загорелых коммунистов ввалилась в его палатку и стала тискать отца в своих объятиях. Они притащили с собой целый мешок съестного, красное вино, сигареты. Отец зажил припеваючи. Англичане решили избавиться от подозрительного типа. Они посадили его в самолет, летевший в Каир. Но самолет не долетел до Египта. Он сел на разбитом аэродроме в Бари. Немцы неустанно бомбили город: из Бари шла высадка союзников в Грецию. Отец снова жил в палатке, но, поскольку бомбили, он много времени проводил в канавах и щелях. Владимир стал грязным до неузнаваемости, не успевал отмываться. На заре в палатку ворвались два английских солдата, растолкали отца, схватили его темно-коричневый шведский чемодан (прекрасная, надо сказать, вещь) и велели бежать к самолету, летевшему в Каир. Отец вскочил, оделся, побежал, но увидел лишь хвост набирающего высоту самолета. С ним улетел его чемодан. Через несколько дней он нашел чемодан в Египте, где осмотрел Каир и посетил пирамиды. Старый араб повозил его на верблюде и продал старинную печатку с надписью «Все проходит». Дальше шло как по маслу. Отец улетел в Иран. В советском посольстве, расположенном в запущенном парке, он увидел зал, где за год до этого проходила конференция глав трех союзных держав. Из Тегерана в начале ноября 1944 года отец прибыл в Москву. Там уже пахло победой. Оказалось, что Молотову срочно потребовался референт с французским языком – выбор пал на отца.

Вячеслав Михайлович имел привычку полежать полчаса в течение дня. На круглом столе в комнате отдыха, возле кабинета, всегда стояли цветы, ваза с фруктами и грецкими орехами, которые обожал Вячеслав Михайлович. Он был вторым человеком в государстве. Его именем назывались города, машины, колхозы, его изображения висели на улицах и в музеях. В молодости он играл на скрипке в ресторанах. Он никогда не смеялся, а если улыбался, то нехотя, через силу. Молотов состоял из костюма с галстуком, землистого цвета лица, большого лба с глубокими залысинами, пенсне на крупном пористом носу, щетинистых, но старательно подстриженных усиков. Он заикался и не мог выговорить свою подлинную фамилию «Скрябин».

Отец не обнаружил в нем ни трибуна, ни пламенного революционера. Молотов терпеливо выслушал его положительное мнение о Коллонтай, не перебивая и не поддерживая будущего сотрудника. Коллонтай тоже не слишком жаловала Молотова, сыграв не последнюю роль в

его жизни: в бытность заведующей женским отделом ЦК, который был под Молотовым, она познакомила его с будущей женой, Полиной Семеновной Жемчужиной.

В первые месяцы работы с Молотовым отец не мог отделаться от ощущения, что его вот-вот выгонят, и если еще не выгнали, то только потому, что пока не нашли замену. Молотов не стучал кулаком по столу, как Каганович, у которого помощники умирали от инфарктов, но использовал обидные прозвища, вроде «шляпа» и «тетя». Молотов велел отцу изменить подпись так, чтобы вся фамилия была видна целиком, как у него самого. Неожиданно вернувшись раньше времени от Сталина, к которому ходил еженощно, он застал отца за шахматами со старшим помощником Подцеробом, который был кандидатом в мастера.

– Я тоже играл в прошлом в шахматы, – оглядев игроков, сказал Молотов. – Когда сидел в тюрьме, в темной камере, где читать невозможно и делать совершенно нечего.

Настроение было уже чемоданное. Через два дня отец улетал на неопределенное время в Париж, на мирную конференцию. 26 июля 1946 года он остановился у окна своего кабинета в Наркомате иностранных дел.

У нас в семье свой краткий курс ВКП(б): официальная история родительских отношений. Они познакомились в 1937 году на филологическом факультете Ленинградского университета. Краткий курс признавал, что знакомством дело и ограничилось. Мимоходом сообщалось, что у каждого были свои увлечения.

В соответствии с кратким курсом мои будущие родители переехали в Москву на курсы переводчиков. Там они тоже общались, но не больше. Затем разъехались на всю войну. Мама уехала в Среднюю Азию, в Фергану, в эвакуацию. У нее началась посторонняя любовь. Писем друг другу они не писали.

Затем в кратком курсе моей семьи наступает неожиданно мощный – ничем не предопределенный – момент просветления. 26 июля 1946 года папа стоит у окна Министерства иностранных дел (тогда еще Наркомата) и видит маму, идущую по Кузнецкому мосту. Он вдруг понимает, что она – его судьба. Он выбегает на улицу и делает предложение. Предложение принято. Они бегут в загс. Папе нужно немедленно куда-то лететь, не то в Сан-Франциско, не то в Париж. Лучше не затягивать. Свадьба была скромной.

В этой истории все хорошо, кроме того, как однажды сказала мама (в очередной юбилей свадьбы), что окна наркомата не выходили на Кузнецкий мост. Впоследствии возникли фантомные фигуры. Они, очевидно, принадлежали апокрифу. Мама подчеркнуто туманно говорила, что при встрече на Кузнецком мосту «там был еще один человек». Было много и другого тумана, но куда бы окна ни выходили, я все-таки родился на следующий год.

Итак, отец увидел знакомую: Галя Чечурину, идущую вниз от Лубянки к Кузнецкому мосту с подругой. Выскочив на улицу, он догнал подруг:

– Вы куда?

– На физкультурный парад.

На самом деле подруги шли вверх к Лубянке по Кузнецкому мосту, и папа *не мог их увидеть* из своего окна. Моя атеистическая мама до сих пор убеждена, что здесь не обошлось без мистики. Случайные концы сплелись в метафизическом измерении, чтобы вытолкнуть меня в мир, как оробевшего парашютиста из самолета.

Подруги Галя и Люба (та самая, что отбила у мамы отца, и маме осталось лишь горько вспоминать его письма, подписанные «Владимир») направлялись на стадион «Динамо». Отец с ходу предложил Гале (не Любе, вместе с которой он был в диверсионной школе, где сломал себе ногу, после чего разъехались: она – в Алжир, к де Голлю, он – в Швецию) пойти расписаться. Галя была застигнута врасплох, и он увлек ее в ближайший загс. Там им отказали в регистрации, сославшись на то, что «они здесь не живут». После безрезультатных скитаний по Москве (мама уже запросилась домой и стала раздражаться) мои родители, найдя случай-

ных свидетелей, расписались в маленьком загсе (смерти и браки регистрировались там в одной комнате) на Миусской площади, где до войны они вместе учились на курсах переводчиков, неравноценно интересуясь друг другом. Свадьбы не было.

Итак, мой папа работал в Кремле. Что он там делал, я знал нетвердо, но, когда я с моими друзьями (зимой по глаза закутанными в шарфы, в цигейковых шубах, шапках, валенках и с маленькими лопатками, чтобы копать в парке Горького в снегу) проезжал мимо Кремля, я говорил им со знанием дела:

– Здесь работают мой папа и товарищ Сталин.

Маруся Пушкина из присущего ей деревенского чувства справедливости пыталась изменить порядок имен. Я был неумолим.

Папа был невидимкой. Он работал днями и ночами: сотрудники Сталина расходились по домам, когда уже светало. Иногда по утрам я хотел подбежать к родительской кровати, чтобы посмотреть хотя бы, как он спит, но меня туда не пускали. Зато по воскресеньям и в праздники папа *материализовывался* молодым сероглазым человеком с косой челкой, и счастье переполняло меня.

Особенно я любил большие революционные праздники. Из уличного репродуктора с раннего утра неслись песни. Но я просыпался еще раньше, до музыки, от грохота танков, которые вместе с «катюшами» и прочей военной техникой веселыми игрушками неслись, чадя, по нашей центральной улице в сторону Красной площади. Четыре профиля вождей, нежно прижавшись щеками друг к другу, как четыре поющие в аквариуме рыбы, висели на доме напротив между длинных темно-красных знамен. Папа брал меня с собой на парад. Он надевал светло-серую дипломатическую форму со звездами генерала, и мне нравилось, как солдаты, вытягиваясь по струнке, отдают ему честь.

– Дяденька немец! Ты почему один ходишь, без конвоя? – кричали моему папе московские мальчишки, приняв его «мышиную» форму за немецкую.

– Он не немец! – обиженно возмущался я.

– А кто?

– Дипломат! – побеждал мальчишек отец.

Мы шли прямо посредине улицы. А вот и Красная площадь.

Однако кульминация родного папиного величия произошла не на Красной площади, где я не заметил Сталина на мавзолее.

Не знаю, как так случилось, но однажды, к моей великой радости, папа поехал со мной на дачу на обычном пригородном поезде, который вез красноколесный паровоз с особенно вкусным дымом. Мы вышли на дачной деревянной платформе в летнее утро, и папа в своей генеральской форме присел, не сходя с платформы, на скамейку, чтобы завязать шнурок, на секунду откинулся и заснул. К нам направился станционный милиционер и, ничего не говоря, встал возле скамейки. Я подумал, что мы попали в большую беду, и тихо, чтобы тот не заметил, стал плакать. С папиной головы свалилась фуражка, он проснулся и вопросительно посмотрел на милиционера.

– Что вы тут делаете? – недовольно спросил он.

– Охраняю ваш сон, товарищ генерал! – браво козырнул милиционер. Это был, бесспорно, лучший милиционер в моей жизни.

Мой папа никогда не болел. В секретариате Молотова болеть считалось нарушением партийной дисциплины, а папа был дисциплинированным коммунистом.

– Дисциплинированный человек, – говорил Молотов своим сотрудникам, – никогда не простужается, ответственно относится к своей одежде и к своему поведению. Он не будет сидеть под форточкой или бегать без пальто в холодную погоду.

Вот почему я очень удивился, когда увидел папу однажды с перевязанной рукой. Он легко уклонился от ответа. Мой детский рай был надстройкой взрослого мира, в котором случались странные повороты событий.

– Как-то мы закончили работу необычно рано, около часа ночи, – рассказывает отец. – Довольный, я вернулся домой и залез в ванну. Наслаждаться мне, однако, долго не пришлось. Жена (*мама, когда была мною брюхата, много ела горохового супа. Я ненавижу гороховый суп, даже запах его, до сих пор*) забарабанила в дверь и сообщила (*сочетание этих двух очень разных глаголов передает, как в кино, семейную атмосферу того времени, но я больше не буду*), что меня срочно вызывают в Кремль; машина уже вышла. С мокрой головой я кинулся вниз по лестнице.

Личный лимузин Сталина по «осевой» домчал меня мигом до Спасских ворот. Минув охрану, я вбежал на второй этаж дома правительства и помчался по длинному узкому коридору. На повороте я растянулся на скользком, как лед, паркете, до крови разбив кисть руки. Поднявшись, я быстро перевязал ее носовым платком. В конце коридора стоял главный помощник Сталина Поскребышев и во весь голос материл меня за нерасторопность. Продолжая извергать проклятия, он буквально схватил меня за шкуру и через тамбурную дверь впихнул в кабинет Сталина.

За длинным столом, друг против друга, сидели безмолвно две делегации: наша – из членов Политбюро – и иностранная. «Большой хозяин» стоял посреди кабинета с трубкой во рту. Кивнув головой на мое приветствие, он указал мне на *свое* место во главе стола. Я выложил блокнот для записи на колени, чтобы скрыть пораненную руку. Сталин прохаживался взад-вперед за моей спиной своим неслышным шагом, в мягких сапогах. Я, как обычно, записывал и переводил.

Вдруг Сталин замолк. Он приблизился ко мне и, указывая трубкой на мой платок, спросил подозрительно:

– Что это у вас с рукой?

– Так, ничего, Иосиф Виссарионович, немножко ушибся, пустяки, – пробормотал я не очень внятно.

– Но все-таки? – продолжал он настаивать.

– Да так, упал, ничего страшного.

– Как упали? Где?

В этот момент распахнулась дверь, и в кабинет влетели врач с саквояжем и два ассистента, все чрезвычайно взволнованные. За ними следом – Поскребышев. Разговаривая со мной, Сталин незаметно нажал кнопку под крышкой стола и вызвал медпомощь. Решив, что с ним случилось неладное, там подняли панику. Заметя недоуменный взгляд врача, Сталин спокойно сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.